

АЛЕКСАНДР КОСТЮНИН

В купели белой ночи

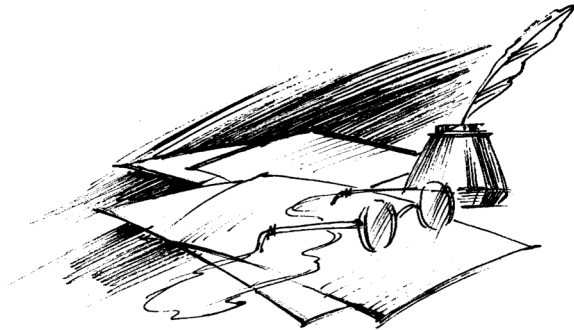


Александр Костюнин

В купели белой ночи

Рисунки Е. Крушельницкой.

Фотографии, оформление автора.



УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6
К 72

Костюнин Александр Викторович.

К 72 **В купели белой ночи:** [избранные произведения] / Александр Костюнин; рис. Е. Крушельницкой; фот., оформ. автора. - Петрозаводск, 2007. - 214, [2] с.: ил., фот.

Сборник «В купели белой ночи» включает избранные произведения карельского писателя Александра Костюнина.

Его рассказы «Рукавичка», «Орфей и Прима», «Колежма», «Офицер запаса» и другие опубликованы в центральных отечественных и зарубежных литературных журналах: «Москва», «Молодая гвардия», «Роман-журнал XXI век», «Сибирские огни», «Север», «LiteraruS»...

По своей основной работе Александр Костюнин является руководителем оборонного судостроительного завода. Это и создаёт, по его словам, «тепличные условия для развития творчества».

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6

**Выражаю искреннюю признательность
Его Высокопреосвященству
Архиепископу Петрозаводскому и Карельскому Мануилу
за духовную поддержку и православные научения**



Благодатная купель

Когда я впервые заочно познакомился с творчеством и личностью Александра Костюнина, я был буквально покорен гармонической цельностью и лирической мощью этого ранее не знакомого мне писателя.

“В купели белой ночи” — на редкость мастеровитая, исповедально честная, ладная книга, светлая и звонкая, несмотря на безоглядно смелую, вплоть до элементов натурализма, манеру делиться с читателем не только драматическими, но и трагическими жизненными коллизиями в социуме малочисленного карельского народа, брошенного в пекло революционных потрясений, гражданской и Второй мировой войны, репрессий, ссылок и гонений.

Александр Костюнин блестяще владеет русским языком не только в качестве инструмента для строительства своего деревянного храма без единого гвоздя, святилища северной чистой природы, но и как самим строительным материалом для возведения безукоризненно стройного, устремлённого к небесам культового сооружения Духа и тела, омытого “В купели белой ночи”. Какова же архитектора этой выдающейся книги, что волнует, тревожит, печалит и радует молодого автора?

Книга построена со счастливой моцартовской лёгкостью, кажущейся импровизационностью структуры, за которой выстраданная авторская гражданственная позиция.

Уже первое произведение сборника, подобно камертону, задаёт стилистический тон всего последующего изложения авторских мыслей и дум, такой небольшой — двести страниц — но столь интеллектуально и эмоционально насыщенной книге... “Рукавичка” — пронзительный, щемящий душу короткий рассказ с глубоким психологическим, нравственным подтекстом. “Рукавичка” — это, на мой взгляд, классика самоучителя нравственности в безнравственную эпоху всеобщего одичания!

Казалось бы, что можно сказать нового в этнографически-анималистическом жанре после Аксакова, Бунина, Куприна, Пришвина? В русской традиции — пристальное сочувственное внимание к “братьям нашим меньшим”, ко всем этим Изумрудам, Холстомерам, Каштанкам и Бимам Чёрное ухо. Однако Костюнина не смутило наличие в русской литературе шедевров “звериного стиля”, и он нашёл свои слова, свои подходы к вечной теме воспевания русской природы во всех её проявлениях и ипостасях. Какие сочные, незаёмные, с глубоким знанием дела и экспрессией написанные пейзажи и сцены псовой охоты в “Орфее и Приме”, какое вакхическое живописание неодолимой силы любви в извечной борьбе Эроса и Танатоса, памяти и забвения! Поистине шекспировские страсти и трагедии в сценах любви Орфея и Примы и гибели их щенят, и неслучайно такое высокое элегическое звучание приобретают заключительные слова рассказа: “С тех пор я не охотился с гончими. Но странное дело: всякий раз, когда мне случается читать или слышать про созвездие Гончих Псов, я невольно вспоминаю Орфея и Приму — русских гончих, страстью которых торговали под заказ. Не ведал я тогда, что Звёзды не продаются! Звёзды светят всем одинаково”.

В “Таниной ламбе” та же стихийная мощь любви передаётся через весенние игры щук и тетеревов, чибисов и чирков, случайных попутчиков и попутчиц... Надо отдать должное умению автора целомудренно описывать самое рискованное и фривольное, приобщая читателя к своему пониманию стихийного весеннего разгула: “Пора весеннего хмельного буйства закончилась. Капли сладкого берёзового сока загустели и высохли. До новой весны!”

Великолепен рассказ “Жор глубинной щуки”. Он натуралистически достоверен и мистически озарён, где-то переключаясь со “Стариком и морем” Хемингуэя. Не могу удержаться от искушения процитировать концовку этого рассказа (вообще надо сказать, что Костюнин — мастер афористических концовок): “В тростнике раздался всплеск. Кольцами по воде пошли, затухая, круги. Вот — щука жорится. Она хватает ту рыбёшку, что помельче, а мы — её и друг друга. Недружно затянули песни лесные птахи, выражая своё восхищение новым днём, восхваляя трелями дивное устройство жизни. Им неведом иной мир. Они поют — потому что любят мир этот. Любят таким, какой он есть, и делают своим пением его краше”.

Рассказ “Колежма”. Онежская губа Белого моря. Сколько нового, экзотического для жителя среднерусской равнины в этом рассказе, сколько новых слов, выражений исконно северных, как очеловечена природа, которую писатель не просто досконально знает, но и по-настоящему любит! И она, мне думается, отвечает ему взаимностью: “Он уважает Море, но оно само на посылках. Жизнь или студёный ад — определяет Высшая Сила. И сейчас общая мера содеянного добра и зла — на весах...” Так фаталистически (а может, скорее пантеистически) заканчивается этот

рассказ, обогативший читателя и потаёнными северными жемчужинами русского языка поморского диалекта (“Порато хоцю Ваську увидеть, на беду об ём скуцяю”), и притчевой мифологичностью, и первозданной красотой Онежских шхер...

Несомненно, удалась автору и повесть “Сплетение душ” — о супружеской и родительской любви. Композиционный приём здесь не нов, жанр эпистолярный, это как бы переключка во времени двух рукописей, обнаруженных в заброшенном родительском доме: “По собственному следу” — отца и “Утка с яблоками” — матери. Умная, горькая, честная повесть, написанная, как говорится, кровью сердца. Язык пластичен и фактурен, мысль несуетно глубока, печаль светла и возвышена... Вот как заканчивается эта повесть жизни — горько и оптимистично: “В сенях лестница на чердак, часть ступенек истлела, осторожно поднимаюсь. Смотрю: крыша в одном месте совсем прохудилась, луч света через прореху падает на зелёный кустик. Берёзка с рябинкой растут. Уже на метр поднялись. Сами ярко освещены, а вокруг терпкий чердачный мрак. Тихо. Таинственно. Как перед службой в церкви. Пылинки млечным звездопадом вьются в солнечном конусе света... Раньше чердаки густо засыпали землёй — вот и прижились два зёрнышка, занесённые сюда ветром. Дождик их напоил, солнышко осветило и обогрело. Тянутся деревья вверх, не сдаются. Переплелись ветвями, в обнимку, словно отец с матерью.

Погибнут они здесь! Милые, родные мои, возьму вас с собой, прямо как есть, не разлучая!

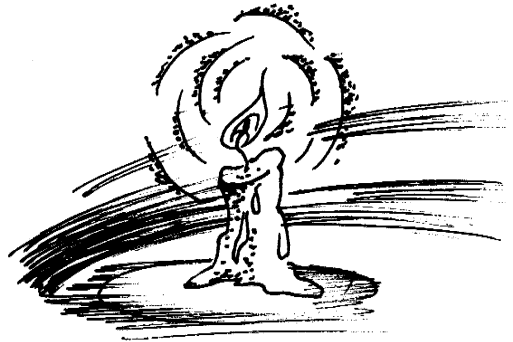
Свежее дыхание ветерка и радостный шелест листвы — в ответ...”

Думаю, что пространная эта цитата как нельзя лучше подтвердит мой окончательный вердикт — перед нами многообещающий русский писатель! Восходящая северная звезда!

Завидую тем, кто сейчас впервые познакомится с его творчеством!

БОЯРИНОВ Владимир Георгиевич

поэт,
лауреат премии им. Ф.И. Тютчева,
Заслуженный работник культуры РФ



Рукавичка

...Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти; и, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю.

Тогда Иуда, предавший Его, увидев, что Он осуждён, и, раскаявшись, возвратил тридцать сребренников первосвященникам и старейшинам, говоря: согрешил я, предав кровь невинную. Они же сказали ему: что нам до того? Смотри сам. И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошёл и удавился.

Евангелие от Матфея

Нельзя сказать, чтобы я часто вспоминал школу. Мысли о ней, как далёкое, отстранённое событие какой-то совсем другой жизни, пробивались с трудом.

Я не был отличником — хорошие отметки со мной не водились.

Сейчас понимаю: могло быть и хуже. В пять лет, всего за два года до школы, я вообще не говорил по-русски. Родным для меня был язык карельский. Дома и во дворе общались только на нём.

Десятилетняя школа была тем первым высоким порогом, за которым и жаждал я увидеть жизнь новую, яркую, возвышенную. Заливистый школьный звонок, свой собственный портфель, тетрадки, первые книжки, рассказы о неизведанном, мальчишеские забавы после уроков — всё это, словно настезь распахнутые ворота сеного сарая, манило меня на простор. При чём здесь отметки?

Тридцать лет прошло.

Повседневные заботы, реже радости полупрозрачной дымкой затягивают детство. Годы наслаиваются как-то незаметно, точно древесные кольца. С каждым новым слоем вроде бы ничего не меняется, а разглядеть глубь труднее. И только причудливым капом на гладком стволе памяти, ядовитым грибом или лечебной чагой выступают из прошлого лица, события, символы...

Не знаю, почему уж так сложилось, но ярче всего из школьных лет запомнился мне случай с рукавичкой.

Мы учились в первом классе.

Алла Ивановна Гришина, наша первая учительница, повела нас на экскурсию в кабинет уроков труда. Девчонки проходили там домоводство: учились шить, вязать. Это не считалось пустым занятием. Купить одежду точно в свой размер было нигде. Перешивали или донашивали оставшееся от старших. Жили все тогда туго. Бедовали. Способность мастерить ценилась.

Как стайка взъерошенных воробьёв, мы, смущаясь и неловко суетясь, расселись по партам. Сидим тихо, пилькаем глазёнками.

Учительница по домоводству сначала рассказала нам о своём предмете, поясняя при необходимости на карельском, а затем пустила по партам оформленные альбомы с лучшими образцами детских работ.

Там были шитые и вязаные носочки, рукавички, шапочки, шарфики, платья, брючки. Всё это кукольного размера, даже новорождённому младенцу было бы мало. Я не раз видел, как мать за швейной машинкой зимними вечерами ладила нам обнову, но это было совсем не то...

Мы, нетерпеливо перегибаясь через чужую голову, разглядывали это чудо с завистью, пока оно на соседней парте, и с удовольствием, сколь можно дольше, на полных правах рассматривали диковинку, когда она попадала нам в руки.

Звонок прогремел резко. Нежданно.

Урок закончился.

Оглядываясь на альбом, мы в полном замешательстве покинули класс.

Прошла перемена, и начался следующий урок. Достаём учебники. Ноги ещё не остановились. Ещё скачут. Голова следом. Усаживаемся поудобнее. Затихающим эхом ниспадают до шёпота фразы. Алла Ивановна степенно встаёт из-за учительского стола, подходит к доске и берёт кусочек мела. Пробует писать. Мел крошится. Белые хрупкие кусочки мелкой пылью струятся из-под руки.

Вдруг дверь в класс резко распахивается. К нам не заходит — вбегает — учительница домоводства. Причёска сбита набок. На лице красные пятна.

— Ребята, пропала рукавичка! — и, не дав никому опомниться, выпалила: — Взял кто-то из вас...

Для наглядности она резко выдернула из-за спины альбом с образцами и, широко раскрыв, подняла его над головой. Страничка была пустая. На том месте, где недавно жил крохотный пушистый комочек, я это хорошо запомнил, сейчас торчал только короткий обрывок чёрной нитки.

Повисла недобрая пауза. Алла Ивановна цепким взглядом прошлась по каждому и стала по очереди опрашивать.

— Кондроева?

— Гусев?

— Ретукина?

— Яковлев?

Очередь дошла до меня... Двинулась дальше.

Ребята, робея, вставали из-за парты и, понуриив голову, выдавливали одно и то же: «Я не брал, Алла Ивановна».

— Так, хорошо, — зло процедила наша учительница, — мы всё равно найдём. Идите сюда, по одному. Кондроева! С портфелем, с портфелем...

Светка Кондроева, вернувшись к парте, подняла с пола свой ранец. Цепляясь лямками за выступы, не мигая уставившись на учительницу, она безвольно стала к ней приближаться.

— Живей давай! Как совершать преступление, так вы герои. Умейте отвечать.

Алла Ивановна взяла из рук Светки портфель, резко перевернула его, подняла вверх и сильно потрянула. На учительский стол посыпались тетрадки, учебники. Резкими щелчками застрекотали соскользнувшие на пол карандаши. А цепкие пальцы Аллы Ивановны портфель всё трясли и трясли.

Выпала кукла. Уткнувшись носом в грудку учебников, она застыла в неловой позе.

— Ха, вот дура! — засмеялся Лёха Силин. — Ляльку в школу притащила.

Кондроева, опустив голову, молча плакала.

Учительница по домоводству брезгливо перебрала нехитрый скарб. Ничего не нашла.

— Раздевайся! — хлётко скомандовала Алла Ивановна.

Светка безропотно начала стягивать штопаную кофтёнку. Слезы крупными непослушными каплями скатывались из её опухших глаз. Поминутно всхлипывая, она откидывала с лица косички. Присев на корточки, развязала шнурки башмачков и, поднявшись, по очереди стащила их. Бежевые трикотажные колготки оказались с дыркой. Розовый Светкин пальчик непослушно торчал, выставив себя напоказ всему, казалось, миру. Вот уже снята и юбочка. Спущены колготки. Белая майка с отвисшими лямками.



Светка стояла босая на затоптанном школьном полу перед всем классом и, не в силах успокоить свои руки, тербила в смущении байковые панталончики.

Нательный алюминиевый крестик на холщовой нитке маятником покачивался на её детской шейке.

— Это что ещё такое? — тыкая пальцем в крест, возмутилась классная. — Чтобы не смела в школу носить. Одевайся. Следующий!

Кондроева, шлёпая босыми ножками, собрала рассыпанные карандаши, торопливо сложила в портфель учебники, скомкала одежонку и, прижав к груди куклу, пошла на цыпочках к своей парте.

Ребят раздевали до трусов одного за другим. По очереди обыскивали. Больше никто не плакал. Все затравленно молчали, исполняя отрывистые команды.

Моя очередь приближалась. Впереди двое.

Сейчас трясли Юрку Гурова. Наши дома стояли рядом. Юрка был из большой семьи, кроме него ещё три брата и две младшие сестры. Отец у него крепко пил, и Юрка частенько, по-соседски, спасался у нас.

Портфель у него был без ручки, и он нёс его к учительскому столу, зажав под мышкой. Неопрятные тетрадки и всего один учебник — вылетели на учительский стол. Юрка стал раздеваться. Снял свитер, не развязывая шнурков, стащил стоптанные ботинки, затем носки и, неожиданно остановившись, разревелся в голос.

Аллавановна стала насильно вытряхивать его из майки, и тут на пол выпала маленькая синяя рукавичка.

— Как она у тебя оказалась? Как?! — зло допытывалась Алла Ивановна, наклонившись прямо к Юркиному лицу. — Как?! Отвечай!..

— Миня эн тийе! Миня эн тийе! Миня эн тийе... — лепетал запуганный Юрка, от волнения перейдя на карельский язык.

— А, не знаешь?! Ты не знаешь?! Ну, так я знаю! Ты украл её. Вор!

Юркины губы мелко дрожали. Он старался не смотреть на нас.

Класс напряжённо молчал.

Мы вместе учились до восьмого класса. Больше Юрка в школе никогда ничего не крал, но это уже не имело значения. «Вор» — раскалённым тавром было навеки поставлено деревней на нём и на всей его семье. Можно смело сказать, что восемь школьных лет обернулись для него тюремным сроком.

Он стал изгоем.

Никто из старших братьев никогда не приходил в класс и не защищал его. И он никому сдачи дать не мог. Он был всегда один. Юрку не били. Его по-человечески унижали.

Плюнуть в Юркину кружку с компотом, высыпать вещи из портфеля в холодную осеннюю лужу, закинуть шапку в огород — считалось подвигом. Все задорно смеялись. Я не отставал от других.

Биологическая потребность возвыситься над слабым брала верх.

Роковые девяностые годы стали для всей России тяжёлым испытанием. Замоlkали целые города, останавливались заводы, закрывались фабрики и совхозы.

Люди, как крысы в бочке, зверели, вырывая пайку друг у друга. Безысходность топили в палёном спирте.

Воровство крутой высокой волной накрыло карельские деревни и сёла. Уносили последнее: ножами выкапывали картошку на огородах, тащили продукты из погребов. Квашеную капусту, банки с вареньем и овощами, заготовленную до следующего урожая свёклу и репу — всё выгребали подчистую.

Многие семьи зимовать оставались ни с чем. Милиция бездействовала.

У Чуковского в сказке, если бы не помощь из-за синих гор, все звери в страхе дрожали бы перед Тараканищем ещё и сейчас. Здесь же воров решили наказать судом своим. Не стали ждать «спасителя-воробья». Терпению односельчан пришёл конец.

...Разбитый совхозный «пазик», тяжело буксуя в рыхлом снегу, сначала передвигался по селу от логова одного вора к другому, а потом выехал на просёлочную дорогу. Семеро крепких мужиков, покачиваясь в такт ухабам, агрессивно молчали. Парок от ровного дыхания бойко курился в промозглом воздухе салона. На металлическом, с блестящими залысинами полу уже елозили задом по ледяной корке местные воровы. Кто в нашей деревне не знал их по именам? Их было пятеро: Лёха Силин, Каредь, Зыка, Петька Колчин и Юрка Гуров — это они на протяжении последних восьми лет безнаказанно тянули у односельчан последнее. Не догадывалась об этом только милиция.

Руки не связывали — куда денутся? Взяли их легко, не дав опомниться. Да и момент подгадали удачно — в полдень.

После ночной «работы» самый сон.

«Пазик», урча, направился за село, по лесной просёлочной дороге. В пути молчали. Каждый сам в себе. Всё было понятно без слов. Ни в прокуратуры, ни в адвокаты никто не рвался. Дорога шла прямо по берегу лесного озера Кодаярви. На пятом километре остановились. Двигатель заглушили. Вытолкнули «гостей» на снег. Дали две пешни и приказали рубить по очереди прорубь.

Снежные тучи тяжело напозлали на нас. Солнце скрылось. Поднялся ветер. Завьюжило. Мороз к вечеру стал пощипывать. Топить воров никто не собирался, а хорошенько проучить их следовало. Есть случаи, в которых деликатность неуместна, хуже грубости.

...В совхозном гараже мы распили две бутылки прямо из горлышка. Стоя. Кусок чёрствого ржаного хлеба был один на всех. Мы пили за победу над злом.

Я этим же вечером уехал в город, а наутро из деревни позвонили: Юра Гуров у себя в сарае повесился.

Если бы не этот звонок, я бы, наверное, так и не вспомнил про синюю рукавичку. Чудодейственным образом отчётливо, как наяву, я увидел плачущего Юрку, маленького, беззащитного, с трясущимися губами, переступающего босыми ножонками на холодном полу...

Его жалобное: «Миня эн тийе! Миня эн тийе! Миня эн тийе!» — оглушило меня.

Я остро, до боли, вспомнил библейский сюжет: Иисус не просто от начала знал, кто предаст Его. Только когда Наставник, обмакнув кусок хлеба в вино, подал Иуде, только «после сего куска и вошёл в Иуду сатана». На профессиональном милицейском жаргоне это называется «подстава».

Юрка, Юрка... твоя судьба для меня — укор... И чувство вины растёт.

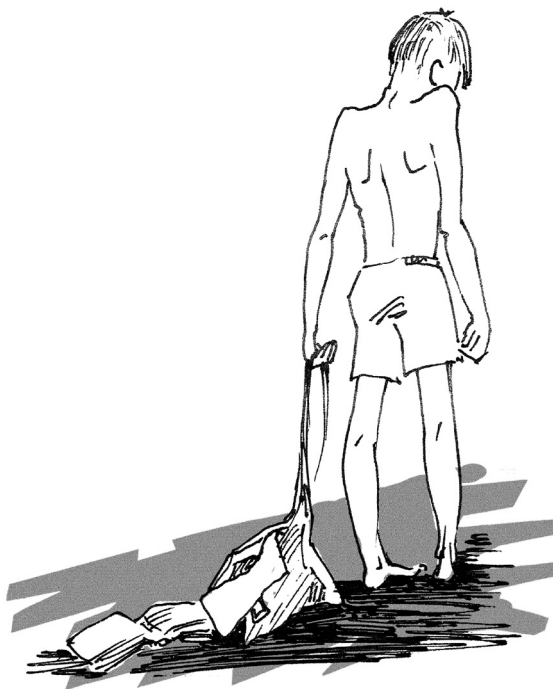
Что-то провернулось в моей душе. Заныло.

Но заглушать эту боль я почему-то не хочу...

...На небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии.

Евангелие от Луки

Карелия, с. Вешкелица, 2006 год





Орфей и Прима

*...Охота Зело добрая потеха,
её эсе не одолеют пелати и круґины всякие.*

Урядник сокольничья пути

Объявление гарантировало «получение удовольствия от коммерческой охоты на зайца-беляка с русскими гончими». Поехал наудачу, заранее не условившись ни с кем. Лишь подгадал время года, самый конец октября, да свободные дни. Остальное решают деньги.

Путь предстоял неблизкий — в Заонежье.

С обеда морозец спал. Повернуло к теплу. И всё вокруг накрыло мелким зябким дождём, на грани снега. Короток осенний день. Уже в сумерках добрался я до охотничьей базы.

Егерь, крепкий мужик лет пятидесяти, встретил сухо.

Мы познакомились. Николай Фомич, выслушав мои пожелания, нахмурился.

— Саша, не получится завтра съездить. Собаки устали. Двое суток подряд на гону. Заменить нечем. Выжловка, — он указал на брюхатую русскую гончую, — сам видишь...

Приму, досужую, лучшую суку Николая, весной, в период пустовки, «не задержали». И теперь, в разгар охоты на зайцев, — ей щениться. В итоге выжлелцы-однопомётники, Орфей и Гром, остались без подмены.

Но сука, похоже, не считала себя виноватой. Что ей до прибыли, до репутации хозяина и сорванных контрактов... Она с достоинством, трепетно несла свой заветный груз, переходя от одной прихваченной первым морозцем лужи к другой. Сосредоточенно, подолгу, приноживалась к бурым клочкам пожухлой травы. Изредка ложилась на землю, прикрыв глаза. Вся в себе. Набухшие розовые соски её томились.

— Нет, не получится выехать, — твёрдо отрезал егерь. — Тропа эти дни была жёсткой. У выжлецов все лапы сбиты в кровь. Их утром не поднять.

Дождь неприятной, как слова егеря, студёной струйкой скатился мне за воротник.

«Торгуется», — сообразил я и предложил тройную цену.

Фомич отвёл глаза.

— Ну, всё одно, пойдём в дом. Ужинать пора. Да и ночевать тебе придётся здесь.

Я молча двинулся за ним.

Аромат жаркого из зайчатины встретил нас ещё в коридоре. В кухне было светло. Топилась печь. Из кастрюли призывно побулькивало.

На полу, не выбирая удобной позы, застыли в забытии два гончих выжлеца. Тот, что посуше, багряный, с ярким чепрачным окрасом, едва повёл головой при нашем появлении и тут же сник.

— Отдыхай, Орфейка, отдыхай... — со вздохом промолвил Николай.

Другой гончак, с белыми отметинами на груди, тихонько взлаивал во сне, продолжая гон. Передними лапами он время от времени беспокойно перебирал в воздухе, силясь добрать зверя.

Влажную верхнюю тужурку я повесил, как было предложено, ближе к плите — пусть сохнет. Снял шерстяной, с глухим воротом, свитер, освободил ноги от резиновых сапог и, оставшись босиком, в натальной рубашке, почувствовал, как истома стала овладевать мной.

Достал из рюкзака бутылку перцовки.

Сели к столу.

Выпили по одной — за знакомство. Потом ещё. Спиртное приятно покати-лось по нутру, смывая и унося своим горячим потоком дневные заботы.

— Фомич, расскажи про своих собак.

— Нет, подожди — сначала нужно закурить.

Он не спеша набил трубку самосадом. Раскурил. Расправил пышные усы. Мечтательно затаился.



— Саш, понимаешь... Увидел я однажды охоту эту, с русскими гончими по зайцу: красивую, яркую, старинную. Увидел и влюбился в неё навек. Гончая охота — как натянутая струна. Сильнее напряжения я не испытывал ни на какой другой.

— Как же ты выжловку не уберёг?

— А вот так... Наша Прима-балерина весной пошла по наклонной. Нарочно залетела! — Николай нервно заёрзал, вспоминая коварство суки. — Хотя перед охотой и отсадил я её, сигаретину дешёвую. Отсади-и-ил ведь! Устроил второй вольер. Выжлецов выпустил на волю, размяться. Знал, что мужики будут крутиться возле, раз «гуляет». Ну и пусть, думаю, намываются — Примка-то под замком. Я выпустил, а этот барбос сгрыз калитку снаружи...

— Кто? — не сразу понял я.

— Орфей, с ним спуталась, — Николай мотнул головой в сторону пса.

Кобель приоткрыл глаза и укоризненно посмотрел на хозяина. По-моему, он и до этого момента не спал, лишь притворялся и всё слышал.

— Выходит, его потомство?

Николай обречённо кивнул и продолжал:

— Наутро смотрю — добирался до неё... Вертлюжок сгрыз. Когда сгрыз — появился небольшой люфт. Он давай её отсюда, снаружи тащить. Щель снизу образовалась, и дверь оттянулась. Добавочные крючки у меня были, кроме вертлюга. Когда прибывал, думал: повыше или пониже? Ай, думаю, прибью повыше — не взломают. Сначала сам попробовал тянуть — куда там. Туго. Два крючка и — разо-гну-ты. Крючья ра-зо-гну-ты! Он растерянно глядел на свой скрюченный указательный палец. — Как пассатижами... Он таки открыл её. Я потом анализировал-сопоставлял: как такое могло случиться? Сама ему, стерва, помогла! Ломилась навстречу, изнутри. Дверь всю исцарапала, шерсть прямо клочками на калитке оставила и всё-таки выскочила — так хотелось к нему на свиданку.

Орфей перестал делать вид, что спит. Он поднялся, подошёл к своей миске, прилёг рядом и с мрачным видом стал грызть заячьи косточки.

Фомич проводил его пытливым взглядом:

— Ему ещё восемь месяцев было. Сделал для них с Громом вольер из сетки. Закрываю. Через некоторое время — Орфей на улице. Что такое?! Я к забору. Снежок выпал. Смотрю по следам: где перелазит? Оказывается, он — на будку, с будки прыгает через забор — и на волю. Ладно. Я над конурой делаю навес. Два листа шифера стелю. Ну, на будку пускай заберётся, но прыгнуть с неё не сможет — голова в крышу упрётся. Им же... Он же не может сначала изогнуться — вот так, из-под выступа, потом подтянуться за край и ногу закинуть. У него ума-то на это не хватит... Через некоторое время Орфей опять на свободе. Да ещё и не один — с Громом. По следам ничего не могу понять. Закрыл обоих. Отошёл подальше, они меня не видят. Сел



и наблюдаю: вот он ходил-ходил, ходил-ходил, прыгнул на будку. Встаёт на задние лапы, упирается головой в шифер, напря-га-а-ется, вырывает его с гвоздя... Выпускает в щель Грома. Потом сам — вот так — в эту щель голову пихает, шельмец, ему шифером да-а-а-ви-ит сверху, он всё ррр-а-вно тискается, прола-а-а-зит и выпрыгивает.

Эту историю Орфей слушал, очевидно, не первый раз. Устало поднявшись, он подошёл к холодильнику и сел напротив. Внимательно разглядывая дверку, кобель с интересом наклонял голову то на один бок, то на другой. Видно было по всему — не просто так смотрит. Он думает!

Николай, обращаясь к псу, с опаской поинтересовался:

— Что, изобретатель, прикидываешь, как открыть?

Гончак изобразил полное равнодушие, вернулся на место и лёг.

— Ну, пошли спать. Съездим завтра в лес, коли так. Давай деньги.

Николай обстоятельно пересчитал купюры, показал мне спальное место и повёл собак в вольер.

Я вышел на крыльцо. Егерь удалялся по лесной дорожке, держа перед собой «летучую мышь». Мерцающие блики огня прыгали тусклым светом по чёрным еловым лапам. Гончие неспешно следовали за ним.

Замыкала цепочку Прима. Временами она останавливалась, поводила головой, втягивая воздух.

Дождь кончился. Было тепло, влажно и безветренно.

Погода выстраивалась под заказ.

Ночью не спалось.

Прислушивался: нет ли ветра, не накрапывает ли дождь?

На новом месте мне вообще спится плохо, а тут такое дело — завтра охота. Я не стал ждать, пока Николай постучит в дверь. Увидел, как зажётся свет у него на кухне, и стал одеваться.

Чай пили, не рассиживаясь, споро. Собаки, заслышав из вольера хлопанье дверью, наши голоса, ор непрогретого узика-«буханки», подняли гвалт.

Подъехали на машине к самому вольеру.

Прима ворчала. Поводя белёсой мордой, она что-то в сердцах выговаривала егерю. Вставала у него на пути. Не давала Николаю вынести Орфея на руках к машине. Путалась под ногами и скулила.

Кобель попытался вырваться с рук ей навстречу. Хозяин окрикнул:

— Прима, место!

И ещё крепче прижал к себе внезапно разволновавшегося выжлеца. Гром вышел из вольера вслед за Орфеем, но запрыгивать в машину не стал. Пришлось грузить и его.

Постепенно светало.

Дорога шла берегом Онежского озера, затем свернула в глубь леса и потянулась пригорками и вырубам к Федотовскому кордону. Фомич машину вёл аккуратно: привычно объезжал глубокие лужи, заученно сбавлял скорость перед ухабами и поворотами, на прямой разгонялся вновь. Свой рассказ он начал без вступления, словно и не прерывал его:

— У деда было кожаное кресло, он усаживался и начинал с отцом обсуждать охоту. Мой двоюродный брат при этом вставал и уходил. Считал — пустые разговоры. Я же, малой совсем, всегда крутился в такие минуты рядом. Дед никогда не говорил: «Ружьё стрельнуло». Ружьё только бьёт или садит. Моё ружьё бьёт садче, чем твоё! Или вот: собака ладистая — значит, правильно сложена. Залиться — это когда гончак, подняв зверя, — «помкнув» его, — гонит, щедро и непрерывно отдавая голос. Скажи — красиво?!

Дорога пошла ольшаником. Машина подминала на своём ходу заросли дикого малинника, раздвигала мелкие деревца, ветки хлестали по лобовому стеклу уазика.

— По тому, как гончие подают голос, их и различают: одни подают редко; другие часто — «ярко»; третьи залиvisto — как бы без перерыва; кто — заунывно, на высокой или низкой ноте. Я на охоту обычно с Володей Григорьевым выезжаю. У него сейчас выжлец подрастает... Ох, и голосина! Я был у него на базе. Смотрю, бегают три щеночка, им по четыре месяца тогда тянуло. Двое: «Пи-пи-пи». Тьфу! А один: «Увв! Увв! Увв!» Уже тогда. Моим — далеко до него...

Салон машины густо заполнил неприятный запах. Николай осёкся и гневно бросил через плечо Орфею:

— Хватит бздеть! Видишь ли — не согласен он...

Пёс после упрёка так сконфузился, что, клянусь, большего смущения я не видел при подобных обстоятельствах ни у одного человека.

Мы выехали на край делянки. Остановили машину.

Собак Фомич сразу напускать не стал. Пояснил:

— Их нужно сперва выдержать. Пусть потомятся. Они должны с радостью, с азартом, без понуждения ступать на тропу. Страсть в них должна разыграть...

Правда: собаки перетаптывались в машине не в силах более сдерживать своего волнения. Принимались лаять. В нетерпении скребли лапами.

Дверь настезь — и смычок русских гончих, теснясь и разбрасывая слюну, выскочил на волю. Псы возбуждённо пробежали взад-вперёд, сделали круг.



Край солнца выглянул над опушкой леса. И сразу лучи, разметав брызги алмазов по бурым стеблям пожухлой травы, по молодой поросли лиственных деревьев и серым мшистым камням, оживили природу.

Пока мы доставали из машины ружья и поклажу, гончаки активно работали в «полазе». Смотрю, они ищут, ищут, ищут... Морда к морде. И вдруг натекают на пахучий волнующий след. Проверяют. И вот нос ещё сзади, не может оторваться от следа, а корпус, ноги в погоне. Уже пошли вперёд. Не отдавая голос. Рывком! На гон.

Скрылись из виду. Секунда. Две. Три.

Гром подал голос. Вначале неуверенно. Слышны отдельные: «Ав», «Ав». И вдруг высоко, залиvisto, победно прорвало:

— А-ааа-ааау!!! А-ааа-ааау!!! А-ааа-ааа!..

— Уав-уаввв-а-уаввааа!.. — подхватил Орфей.

Гон зазвенел на все голоса: жаркий, страстный. Не лай, а стон покотился по низине, заиграл эхом и пошёл кромкой влажного леса. Гончаки резвые, паратые, равные на ноги — косому петлять некогда.

Быстро идёт гон.

Заяц замелькал на краю делянки, пересёк её и выкатился на дорожку.

Прямо на нас — «на штык».

На самом верном лазу Фомич. Метров за семьдесят от него заяц сел. Выстрел! Беляк пошёл. Ещё один выстрел вдогонку проходного. (Вторым выстрелом, чувствуется, зацепил.) Собаки идут не скальваясь. Николай стреляет третий раз. Заяц останавливается, но не падает. Я, забыв про ружьё, фотографирую. Гончие близко. Вывалили на дорожку. Увидели зайца и, наткнувшись зрачком, «понесли навзряч»!

Впереди, вожакom, Орфей. Кобель «висит на хвосте» зверька. Добирает его. Едва отняли.

Заяц выцвел не полностью. Почти весь белый, только пятном на лбу и полосую по спине держится красноватая шерсть да на кончиках ушей яркая, не выцветающая и зимой, чёрная оторочка.



Счастливым, довольным гончак забрёл в центр лужи и лёг в бурю жижу, озорно пуская пузыри.

Мы втроем: Николай, Гром и я — переглянулись.

Во второй половине дня, после обеда, собаки стомились и долго не могли поднять зверя. Мы прошли хутор. Поднялись на скалу. Сверху озёра и деревни видны далеко-далеко. Был тот скоротечный период года, который у гончатников принято называть «узёрка». Золотая осень и яркие краски закончились. Первый снег уже был, но бесследно сошёл. Талая земля ещё не промёрзла. Берёзы сменили сусальное золото листвы на строгий готический стиль. Графика вытеснила живопись. Заяц полностью побелел — «вытерся».

Под ногами заросшее травой и мелким кустарником сухое болото, окружённое высоким бугристым лесом. При выходе на чистинку я заметил боковым зрением под скалой, в коряжине, белое пятно. Остановился, повернул голову назад: заяц или нет? Может, клочок снега? Обрывок газеты?

На ходу достаю очки, нацепил: ну точно, заяц! Но уже не лежит — сидит в беспокойстве. Заведомо сомневаясь, что пробью, стреляю через кусты. Нелепо белый, словно в накрахмаленном медицинском халате, он срывается с места, летит на скалу. Там Фомич. Беляк ему под ноги. Выстрел! Другой! Тишина.

Собаки подваливают на выстрел. Погнали.

— Ё-моё, он у меня перед самым носом сидел.

Коля с упреком:

— Что же ты раньше не стрелял?

— Я думал — газетины кусок.

Гоньба пошла по большому кругу, и собаки сошли со слуха. Стало смеркаться. С обеда серые тучи, словно устав, замедлили ход и, лениво теснясь, напоздали друг на друга. Сначала несмело, потом настойчивей стал накрапывать дождик.

Пора назад.

Фомич достал из-за спины охотничий рог. Трижды протрубил.

Вернулся Гром. Николай взял его на поводок и привязал рядом с машиной.

Орфея не было.

Мы пошли в сторону ушедшего с гоном гончака, непрерывно окликая его. Наткнулся на выжлеца Фомич. Орфей лежал на краю поляны, на спине, задрав вверх дрожащие окровавленные лапы. Не скулил. Даже на это сил не было.

— Орфей, что с тобой?!

Кобель попробовал подняться. Не смог.

— На сегодня, Орфеюшка, всё. Пойдём домой. Вставай.

Выжлец ещё сделал попытку встать на ноги и снова повалился. Он устал до крайности. Николай силой поднял его. Пёс, едва перебирая ногами, пошёл.

Идёт, идёт и оглянётся. Убедится, что видим, подходит к кусту и валится на бок. Снова поднимаем, ставим на ноги, дальше идём.

До машины оставалось метров пятьдесят. Орфей направился к кусту, хотел рухнуть, как вдруг оттуда ему пахнуло в нос свежим, дурманящим, животворящим запахом красного зверя.

— А-ау! А-ау! А-ау!

И погнался. С азартом, страстно. Куда делась смертельная усталость?

У машины воем завёлся Гром.

Гон на круг заворачивать не стал, ушёл по прямой: так уводит только лиса.

А на улице терпкая октябрьская темень.

Мы ждали. И кричали. И дважды бегали до дальней делянки. Звали, трубили, стреляли в воздух — напрасно. Кобель не вернулся.

Николай бросил под куст свою фуфайку — родной запах.

— Поехали домой. Его так просто с гона не снять — вязкий, непозывистый гончак. Ничего, нагоняется — придёт! Не первый раз.

База встретила нас притихшей.

В наше отсутствие Прима ошенилась и теперь, забившись в конуру, устало облизывала свои мокрые родные комочки. К нашему появлению она отнеслась равнодушно, при этом словно ждала кого-то. Беспокойно вытягивала морду кверху. Принюхивалась.

Фомич присел рядом на корточки и, ласково заглядывая ей в глаза, потрепал за загривком:

— Придёт твой Орфей, не горюй. Куда ему деться? А этих щенков ну никак нельзя оставлять — сама понимаешь. Осенний помёт у породистых гончаков сохранять не принято: таких собак ни на выставку, ни на полевые состязания не предъявишь — засмеют. И самое главное — их не продать потом. Мне от вас с Орфеем щенки весной нужны. Саша, посвети.

Он передал мне керосиновый фонарь.

Сам поманил Приму куском сахара. Та недоверчиво высунула голову из будки. В ногах у самки беспомощно копошились детёныши. Один, что покрепче, сосал маткину грудь, для удобства забравшись поверх братьев и сестёр. Другие

же или беспомощно попискивали, слепо хватая ртом воздух, в поисках желанного соска, или безмятежно посапывали, прижавшись к тёплому, как лежанка, животу матери.

— Прима, на-на!

Теперь её высасывали семь ртов, и природа понуждала восстанавливать силы.

Собака подалась из конуры. Сосок коварно выскользнул у крепыша изо рта.

Щенок заскулил.

Николай, ухватив за ошейник, перевёл собаку из вольера в соседний, наглухо сколоченный дощатый сарайчик, поставил перед мордой миску геркулесовой каши и плотно закрыл снаружи дверь. Сука, почуяв недоброе, завывала.

Фомич, глухо матерясь, опустился на колени рядом с будкой и на ощупь стал вытаскивать тёплые комочки, один за другим, укладывая их в голубое эмалированное ведро, в котором обычно таскал еду для собак.

Звериный вой суки будоражил ночную тьму.

Прима бесновалась, кидалась на глухую к её горю дверь сарая, ударялась в неё всем своим телом, падала, поднималась, снова и снова билась, но ничего не могла исправить.

Щенки, безмятежно жмурясь, возёхались на дне ведра, сытые, притихшие, не ожидая от жизни ничего, кроме хорошего.

— Свети лучше, не тряси фонарь, «газетины кусок»...

Егерь наклонил стоявшую под стоком бочку с дождевой водой и залил ведро до краёв. Шевелящаяся живая масса с бульканьем скрылась. Лишь один из щенков, крепыш, видно в бату, не сдаваясь, поднялся по телам своих братьев и вытянул головку наружу. Николай берёзовым прутиком легонько притопил его.

Свет «летучей мыши» сперва выхватывал под водой последние судороги щенка, потом жизнь затихла.

— Всё, — устало произнёс егерь. — Пошли ужинать.

Мальшей отнесли в выгребную яму, подальше от вольера, и зарыли.

Ни ночью, ни под утро Орфей не вернулся.

Мы объехали на машине все ближние деревни: собаки нигде не было. И только знакомый старик видел возле Федотовского кордона волков. Как раз там, где мы вчера полевали.

Я опаздывал на работу и больше оставаться не мог.

Укладывая вещи в машину, прощаясь с егерем, я никак не мог избавиться от еле слышного, но от этого не менее щемящего, раздражающего душу, пронзительного воя

суки. И отъехал далеко, и музыку включил лёгкую, а он всё не отпускал — преследовал меня.

С тех пор я не охотился с гончими. Но странное дело: всякий раз, когда мне случается читать или слышать про созвездие Гончих Псов, я невольно вспоминаю Орфея и Приму — русских гончих, страстью которых торговали под заказ.

Не ведал я тогда, что Звёзды не продаются!

Звёзды светят всем одинаково.

Карелия, г. Медвежьегорск, 2006 г.





Танина ламба

...С целью создания семьи желаю познакомиться с доброй, отзывчивой девушкой, любящей природу и рыбалку, имеющей лодку.

Фотография лодки обязательна.

Из брачных объявлений

Мой сосед Коля Ефимов, или попросту Ефим, работал тогда в автоколоне. Много лет ездил он на рыбалку своей компанией. Звал и меня.

Сам я больше охотник, потому и мало трогают все эти байки про «сумасшедший» клёв, про «оживший» поплавок, про «во-о-от такого» леца. Хотя после длинной выюжной поры уху на костерке, под солнышком люблю.

К тому же погода... Ещё третьего дня крутила позёмка. Сухая холодная крупа обжигала лицо. Казалось, зима по второму кругу пошла. И вдруг солнце, словно устав заигрывать с метелью, наклонилось гигантским рефлектором к земле: дохнуло жаром на спящих под корой деревьев насекомых, пробуждая их ото сна; на деревенских кошек, заставив их нежиться на крыльце; на людей, укутавшихся в зимние шубы с глухими воротниками, предлагая высунуть нос наружу и вдохнуть полной грудью запахи ошалевшей природы.

Такой оттяг после зимы!

В народном календаре конец апреля обозначен так: «Пришёл Федул — теплом подул». Начался снеготай. Расцыганились ручьи. Появились первые лужицы, принимая в себя голубое небо. У воробьишек наступили «банные дни». Они порой так накупаются, что не могут ни взлететь, ни чирикнуть: сидят у края лужи, осовело поглядывают на плывущие кучевые облака, млеют.

Ефим второй день сам не свой:

— Сань, поехали. Вот-вот нерест у щуки. Мы завтра выезжаем. Даже плохой день на рыбалке лучше, чем хороший день на работе, а тут, гляди, как погода разошлась.

— Где ночуем?

— У костра. В «Москвич» все не влезут. Мы с тобой в спальниках. У Славы Кочнева свой способ. Помнишь Славу-то? Мой напарник. Длинный такой, тощий, гибкий. Все люди, когда сидят — нога на ногу. А у него не просто нога на ногу, она ещё и два оборота делает, как змеёвик. Со стороны посмотреть — эмблема аптеки. Так вот он берёт два больших камня размером, чтобы только мог трелевать. Закатывает оба в костёр. Камни нагреются, он выкатывает один из костра, обвивается вокруг, прижимается животом, и на полчаса тепла хватает. Потом остывший камень затаскивает в костёр, горячий достаёт. И всю ночь он эти камни: туда-сюда, туда-сюда, как Сизиф, ворочает.

Всё. Еду. Нельзя в такую пору дома сидеть. Уже тепло и комаров ещё нет. Длится этот период рыбацкого счастья не больше недели.

Поехали втроём на стареньком «Москвиче»: Ефим, Слава Кочнев и я.

Едем мимо Сяпси. Голосуют две девицы: «Довезите до Курмойлы». Мы их берём. По дороге одна спрашивает, Таня:

— Вы куда едете?

— На рыбалку.

— Возьмите нас с собой.

— Поехали.

Едем, едем. Доезжаем до отворотки на Курмойлу. Танина подружка встрепенулась:

— Остановите. Мне ни на какую рыбалку не надо. Я сойду здесь.

Мужики хором:

— Ну чего ты? Поехали.

Она на ходу стала выскакивать из машины. Остановились сразу. А эта сидит.

— Нет, я поеду с вами.

Постарше меня: лет двадцать пять будет. В чёрной фуфайке, в красных лихих блестящих сапожках. На лицо интересная. Тёмно-русые волосы короткой причёской. Ямочки на щеках. Бесинка в глазах.

С основной дороги свернули на грунтовку, затем — на лесную. Сколько могли, юзили по расквашенной колее. На полянке машину пришлось бросить. Озеро в километре. Дальше пешком. За всю зиму никто не ездил туда.

Собрали шарабаны, рюкзаки, острогу, резиновую лодку — пошли.

— У меня дома такая же лодка, — на ходу обронила Таня.

Она взяла в руки два ватных спальника и отправилась за Ефимом след в след, высоко, грациозно... сексуально перешагивая снежные тающие комья. (Весной эпитет “сексуально” норовит прильнуть к каждому деепричастию, глаголу и даже знаку препинания.)

Надо же: «Лодка есть». Бойкая девчонка. Мне до этого больше книжные барышни встречались. С ними о рыбалке и не заикайся...

Было раннее утро. Наст ещё только стал отдавать. Прямо на наших глазах по целине то и дело пробегала трещинка, раздавалось глухое «ух!», и снег оседал. Верхняя корка, усыпанная хвойными иголками, словно рыжая щетина недельной давности, местами сменялась зелёным ковром брусничника и мха.

Мы вышли к лесному озеру.

Мелкий закоряженный залив, насквозь пробиваемый солнцем, свободен, а дальше тёмно-синим покрывалом ещё лежит слоистый лёд. Этот северный берег надёжно укрыт от холодных ветров, потому и отходит быстрее. По закрайкам, слева и справа от стоянки, узкая полоса воды вдоль берега. Шелестит высокий камыш.

Пока доставали из шарабана посуду, Ефим рассказал анекдот:

— Ловил старик неводом рыбу, и попалась ему золотая рыбка. Взмолилась рыбка человеческим голосом: «Отпусти меня, старче, я тебе три желания исполню». Стал старик думать, чего бы попросить. «Желаю, чтобы море-окиян стало из чистой водки». Рыбка хвостиком махнула, и стало море-окиян из водки. Старик зачерпнул кружку, пьёт — не нарадуется. Рыбка уже задыхается на суше: «Скорее говори два других желания!» — «Ну, ладно. Сделай, чтобы и речка тоже стала из чистой водки». — Махнула рыбка хвостиком, и стала речка из водки. Пошёл старик, зачерпнул кружку, пьёт — не нарадуется. А рыбка пузыри пускает: «Старик, через две секунды я сдохну. Скорей говори последнее желание и выбрось меня в море!» Старик и не знает, чего захотеть ещё. Махнул он рукой и говорит: «Ладно, дай на пол-литра и ступай себе с Богом!»

— Много текста, — упрекнул Славка.

— Я...

— Ещё короче!

— Наливай!

— Не убавить, не прибавить. Литая проза!

Выпили.

Таня с нами на равных. Лицо зарделось.

Налили по второй.



Она поправила мальчишескую причёску, сняла фуфайку, игриво накинула её на плечи и расстегнула молнию спортивной кофточки. Весеннему солнцу и нашему взору открылись необласканные девичьи груди.

Солнце, чувствую, ахнуло!

Таня взяла в левую руку гранёный стакан с водкой, в правую — пачку сметаны. Молча улыбнулась. Промурлыкала что-то себе по-кошачьи. Прикрыла веки. (Длинные ресницы, казалось, коснулись меня.) Запрокинула голову и выплеснула холодный горький напиток в горло. Едва поморщившись, припала к сметане, и было видно, как перебирая нижней губой, она сглатывала её.

Крепкая высокая грудь при каждом глотке восторженно вздымалась. Таня обольстительно постанывала, поднимая коробку круче и круче.

Мы не отрываясь, приоткрыв рты, следили.

Таня неловко повела рукой, и белый жирный сгусток шлепком упал ей в глубокую ложбинку груди. Не отвлекаясь, она продолжала смачно есть.

— Ты так всё добро растеряешь, — возмутился Ефим и, сорвавшись с места, жадно припал ртом к густо-разлапистой холодной белой розочке. Он стал шумно слизывать кисло-молочный диетический продукт с Таниной груди. Несколько капель угодило на горделиво набухший сосок. Ефим принялся сладострастно облизывать, а затем и посасывать его. Они, в унисон, застонали.

Таня приоткрыла счастливые глаза. Встала. Посмотрела призывно на меня.

— Ну, может, пойдём, глянем на весну. А?

Я отвёл глаза.

— Давай, идё-ом! — нетерпеливо встрянул Ефим. — Пойдём смотреть! Ради чего и приехали...

Чуть задержавшись, она запахла грудь, подправила на плечах стёганку, резко повернулась и, не оборачиваясь, зашагала к лесу. От ладной фигурки её нельзя было отвести взор. Не пойму: что удерживало меня?

Ефим, суетясь и приплясывая, плеснул в стакан водки, скосил глаза на уходящую подругу и, выпив, бросился вслед.

Славка ёрзал на месте. Он то вскидывался бежать следом, то на миг присаживался и, будто ожёгшись, подпрыгивал опять. Вижу, терпежа у него нету.

— Меня тоже на «мясо» потянуло!.. — глухо пробормотал он и рывком ринулся догонять. Из-под сапог полетели комья сырого снега.

Солнце пекло совсем по-летнему. У самого берега, на мелководье, то и дело раздавались шумные всплески. Щука пошла на нерест.

Было далеко за полдень, а наши сети так и лежали в мешках.

Из леса доносился пьяный смех. Похотливые стоны. Треск валежника. Обрывки слов. Свой «нерест» завсегда ближе к телу!

Я раскатал голенища болотных сапог, взял острогу и направился к ламбе. Крадучись, зашёл в воду. Всего в каких-то десяти метрах от берега я увидел щук: они косыми стрелами пронеслись по мелководью, затем самцы, те, что поменьше, по три-четыре выстраивались за одной крупной самкой. Икрянка плывёт впереди, а кавалеры или прижимаются к ней с боков, или стараются держаться

над спиной. Время от времени появляются их плавники: возбуждённые самцы нет-нет да и выскочат из воды.

В том месте, где щука начала тереться о ветви затопленного ивового куста, вода, словно живая, забурилась.

Я, как Нептун, замахнулся зубчатой остройгой и воткнул её в центр кипящего рыбьего гнезда. Придавил длинный шест ко дну. Он задёргался, закачался из стороны в сторону, вырываясь из моих рук. Я налёг всем телом. Сильнее прижал. На поверхности появились алые разводы. Трепыхание стало слабеть. Вытащил многозубец. На острых стальных стрелах извивались три рыбины: два небольших щупака и самка весом под два килограмма. Крупная слабоклейкая оранжевая икра стекала из матки ручьём в воду.

Уложил рыбу в заплечный рюкзак, перехватил поудобнее острогу и пошёл краем берега дальше.

Солнце топило снег.

Весенние ручейки на глазах превращались в бурные потоки. Целые речушки несли талые воды к ламбе. Всё активнее вели себя щуки. Они оставили ямы под крутыми берегами, глубокие впадины под корягами и пошли путешествовать по широкому паводку. В самых припекаемых, укрытых от студёного ветра уголках озера, на отмелях, самки метали икру, чтобы дать жизнь новому поколению.

Нет препятствий для рыбы, стремящейся на нерест.

Впереди щука выбросилась на завал из веток, проползла по нему несколько метров, извиваясь змеёй, и ушла в ручей, выше по течению.

Не успел подбежать...

Весна поднимала голову.

В пойменных лугах исчезли белые пятна снега и уступили место земле с бледно-жёлтыми травами. Над лесными полянками появились живые цветы — бабочки: чёрные с белой каймой — траурницы; ярко-жёлтые, небольшие — лимонницы.

Начали посвистывать кулики.

Загудели бекасы. У них главный музыкальный инструмент — кончики крыльев да расправленный веером хвост. Чтобы дальше слышались его трели, бекас взлетает метров на семьдесят вверх и оттуда круто бросается вниз, наполняя воздух жужжанием, похожим на бляение овцы. За это он и получил название — «поднебесный барашек».

Под вечер зачуфыкали голосистые тетерева. За несколько километров слышен их токовой хор. Временами причудливые звуки косачей сливаются с лягушачьим свадебным бульканьем. Они схожи между собой и оттого трудноразличимы.

Разные песнопения слышны в лесу, но все они — гимн соитию.

Я вышел из-за мыска: глухой тупичок. Шумно ступил ногой — из-под берега поднялась пара чирков. Впереди летит утка, чуть позади селезень. (Ну что тут скажешь: на каждом шагу «нерест». Один я не участвую.)

Солнце скрылось. Почернели сумерки, ещё не вступившие в пору седых летних ночей. Я далеко прошёл вдоль берега направо от стоянки. Осмотрел загубин десять.

Вернулся назад. Поравнялся с костром. Пошёл влево. Слышу, сзади хлюпанье по воде. Поворачиваю голову: в болотных Славкиных сапогах, зябко засунув руки в рукава, как в муфту, с непокрытой головой ко мне шла Татьяна.

— Тебе не холодно? — поинтересовался я.

— Нет.

— А где мужики?

— Упились и храпят вовсю.

Таня, осторожно ступая по затопленному песчаному дну, будто древнегреческая покровительница рек Наяда, приблизилась ко мне. Не вынимая рук из рукавов, жарко прижалась грудью к моей спине. Сильно задышала.

— Тань, — не своим голосом произнёс я, — у нас с тобой ничего не получится...

Рядом шевельнулся клубок щук.

— Смотри, весна кругом... — с придыханием произнесла она.

А может, мне это послышалось?

Таня вытащила руки из «муфточки» и нежно коснулась меня...

...Лишь с рассветом мы вернулись к костру. Дрова прогорели. Серые хлопья пепла почти целиком прикрывали алые угли.

Ефим безмятежно храпел в спальнике. Славки не видно.

Ба! Да вот и он.

В этот раз, видно, камней для «правильной» ночёвки не нашлось. Он с кострового шеста снял чайник, босые ноги калачиком подогнул и спит себе на берёзине. Ладони под щекой. Знай, пускает слюну.

— Славк, ты так в костёр рухнешь! Слазь.

В ответ раздалось мирное посапывание.

Таня взяла меня ласково за руку:

— Зайка, он спросонья не понимает ничего. Снизу тепло идёт. Ему хорошо.

Я решил поддержать Кочнева за фофан, он отмахнулся и прямо с шеста в костёр. В небо метнулись искры и столб золы. Ташу его из костра, из углей, а он на четвереньках, ногами и руками вкапывается, назад рвётся. Здесь-то холоднее. Волосы у него длинные. Переплелись с пеплом, щепочками — как воронье гнездо.

— Не тормози. Пускай досыпает. Недолго осталось. Светает уж.

В этот раз мы так и не намочили сети.

Ефим заметил:

— За время поездки никто из животных не пострадал.

Ему не жаль было упущенной добычи. Это он так, к слову пришлось.

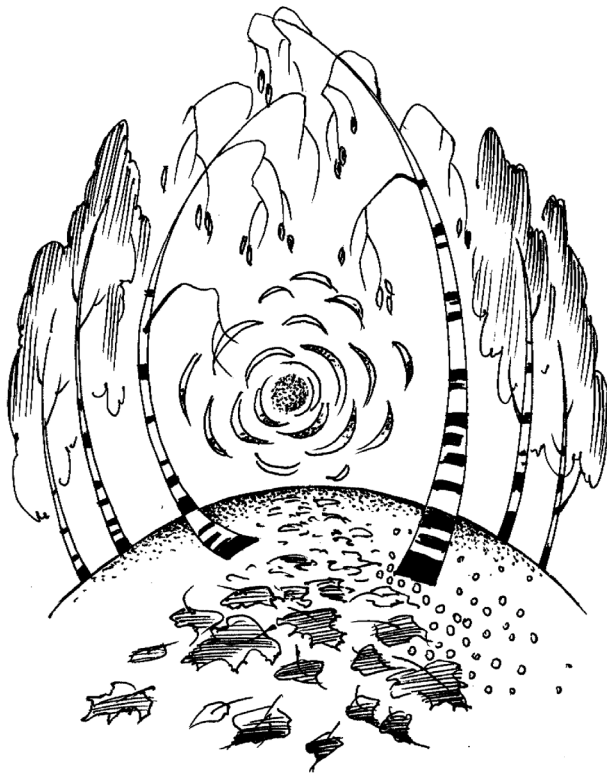
Нашу случайную знакомую мы довезли прямо до дома, в Курмойлу. А это озеро мы с тех самых пор называем между собой «Танина ламба».

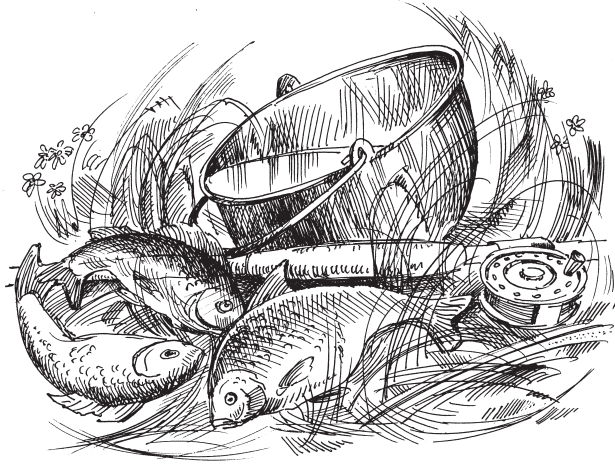
Пора весеннего хмельного буйства закончилась.

Капли сладкого берёзового сока загустели и высохли.

До новой весны.

Карелия, г.Петрозаводск, 2007 год





Жор глубинной щуки

*...Только вырвавшись на волю,
на простор воды открытой,
вдруг остановился парус,
как споткнулась в беге лодка.*

*И отважный Лемминкяйнен
переглянулся, смотрит за борт
под недвижимое днище,
говорит слова такие:*

*«Не на камень села лодка
и не на топляк наткнулась,
а на щуку наскотила,
на хребет морской собаки!»*

Руны «Калевалы»

Её Величество — Щука!

Именно она держит «большину» и считается полноправной хозяйкой подводного царства Карелии.

Уже месяц, как растаял на водоёмах лёд и прошёл нерест у этой рыбы. Закончилось таинство щучьей любви, когда в угаре самки с кавалерами «теряли голову», не ведая стыда и страха, выходили шумными ватагами на отмели для того, чтобы отметать и оплодотворить икру.

После этого у щуки — Большой пост.

Целый месяц рыба не притрагивается к пище, не обижает проплывающих мимо мальков. Вчерашнюю разбойницу не узнать: вместо агрессии — полное смирение, суровая схема; вместо чревоугодия и кровопролития — мирозерцание и любовь к ближнему; ей — «Да пошла ты!..», она в ответ — «Будьте здоровы».

Смирение Царицы вводит чернь в заблуждение.

Позади цветение черёмухи. Солнце стало не на шутку припекать, нагревая землю, болота, воду. И тут щучий пост заканчивается. Щука в начале июня выходит на охотничью тропу. За мелкорыбидей. Ближе к заросшим берегам, к тростнику, к наплавным лопухам. Выходит голодная, агрессивная и самоуверенная. У неё начинается жор. Теперь кто не спрятался — она не виновата. Ранним утром и с началом сумерек, до пепельной темноты далеко слышны по воде мощные «плюхи» — это вошедшие в раж хищники жадно заглатывают всё, что шевелится.

Подводный волк вернулся к исполнению ответственной, ненормированной и, как авторитетно заверяют, необходимой всем должности «пахана».

Самая пора для ловли на спиннинг.

Приобрёл эту снасть я два года назад. Были куплены также и блёсны, и сачок, и прочая великия и малья рыбацкие атрибуты.

На Сямозеро в Кухогубу добрался в разгар вечерней зари. Приготовил резиновую лодку. Переобулся. Достал снасти.

Погода стояла тёплая, тихая, комаристая. Корабельные сосны подступали прямо к озеру. В неподвижной воде отражались их стволы — цвета дозревающей морошки.

Стараясь не тревожить склонившуюся над заводью тишину, неторопливо оттолкнул лодку от берега. Сколькo хватает глаз — мелководные просторы, поросшие островками тростника, листьями кувшинки и белыми лилиями. Это настоящее щучье царство. Метрах в десяти, у кромки камышей, — мощный всплеск. Пирует разбойница!

Думаю, не будь рыба немой, висел бы сейчас над озером дикий ор и проклятия.

Поймал двух щурят. На глаз боюсь вес занизить, но явно «дошколята». Руки, отвыкшие за зиму, постепенно вспоминают нужные движения. Основательно разойтись не успел: зорька отгорела.

Пока я полоскал свои блёсны в сямозерских губах, в мелкие сети попало в аккурат на уху. Окушки. Да в крупные — два подлещика на жарёху. Не спеша, погрёб к берегу, к месту стоянки. Примерно с километр по воде.

Смотрю, на берегу свет фар. Подъехала машина. Хлопнули дверки. Голоса. Соседи появились. Минут десять прошло, не больше, у них уже костёр. Быстро!

Подплываю. Вытаскиваю лодку на берег. Успеваю заметить чёрную «Победу» с распахнутыми дверками. Собираю по сырому скользкому дну колючих окуней в котелок. Подхожу к огню.

Пожилая пара: мужчина и женщина, лет шестидесяти. Она у костра — готовит пищу. Он таскает дрова, воду. Всё, как и тысячи лет назад. Мы познакомились. Он — Николай Иванович. Она — Клава, отчество не запомнил. Муж и жена. Она дородная, он живчик. Добродушные. Гостеприимные.

— Присаживайтесь к нашему костру, — предложил Николай Иванович.

— Какой смысл ради трёх часов свой запаливать? От нас ведь не убудет.

Я с удовольствием согласился, предложив для общего котла рыбу. Пока он чистил окуней, хозяйка мыла и крошила картошку, колдовала над ухой, я поставил на угли ёмкую, чугунную сковороду, накалил её и крупными кусками уложил подлещиков.

Иваныч засеменял к машине. Назад идёт довольный. Улыбается.

Чувствую — выпил.

Подлещики в кипящем подсолнечном масле весело заскворчали. Посолил их. Поперчил. Подсыпал с краю лучку. Повернул рыбу с боку на бок. Одна половинка уже в рыжей блестящей твёрдой корочке.

Ровно отпиленные чурбаки двинули ближе к костру. Посередке — огромный сосновый спил — стол. Расставили на него миски. Достали деревянные расписные ложки, ржаной хлеб, соль, зелёный лучок. Такого в ресторане не подадут...

Пока ухи не наелись, лишь аппетитно сопели. А вот когда «атака» захлебнулась, да хозяйка выставила на центр пня ещё и сковороду с румяными подлещиками и предложила рыбки «поелошить», разговор пошёл.

Я не утерпел:

— Видели в лодке щурят? Огромная сошла!

Николай Иванович криво ухмыльнулся.

— Не зря говорят, что честный человек не может быть хорошим рыбаком. Сорвавшаяся рыба всегда больше пойманных...

Он поддел с длинных рёбер леца кусочек, отдающий дымком костра, дополнительно прошёл над ним щепотью соли, отправил в рот и смачно облизал маслянистые пальцы:

— Заядлые щукари знают, что жор у молодых и взрослых хищников в разное время. В эту пору жорится мелкая щука — «травянка». Она и светлее, и ярче окрашена. Вся, будто золотом брызнули. «Глубинка» ещё не подошла. Та заметно крупнее. Донная щука живёт в глубоких ямах. И спина у неё под окрас

тёмного омота — цвета чернозёма, бока серые, брюхо белое с крапинками. Вот где чудище! Такая и сорвётся, слава Богу! Жалеть не надо.

Старик бросил на меня загадочный взгляд, нагнулся к костру и подправил поленья.

Я молчал, озадаченный. Мне пришло на память, что щуке приписывают близкое знакомство с нечистью. Если рыбарь заметит, как она плеснёт возле борта хвостом, то скорая погибель не за горами. Щука охраняет царство Водяного. Окунь и судаки в её подчинении. Когда вдруг она срывается с крючка, принято не ругаться, не клясть судьбу, лишь тихо произнести: «Плыви, щука, за водой, моё счастье, будь со мной».

По народному поверью, «в щучьей голове, что в холопской клетке: и пусто, и темно, и злых намерений полно». Недаром «щучкой» называют злого, лукавого и пронырливого человека. А карелы подметили: «хауги куолоу, хамбахат яттау» — щука и мёртвая кусает.

— Клав, — окликнул Иваныч супругу, — у нас выпить ничего нет?

— Почём я знаю?! Буду я тебе ещё водку наготово, как маленькому, брать.

— Ну, ладно, костёр-то у нас замолкает. Надо в топку слегка того... подкинуть.

Он вразвалочку пошёл в серую ночь. Похрустел валежником. Хлопнул дверкой машины и, вернувшись с охапкой сушняка, вывалил подле костра.

Глаза его заговорщицки блестели. Сам заметно оживился:

— Рыбалкой давно занимаюсь. Так вдвоём с хозяйкой и ездим. Каждые выходные, считай, на озере. Здесь, кроме нас, редко кто бывает. Вот в прошлый год подвалили. Строев Фёдор... Петрович. Тоже с женой. Прямо на это место. Клав, помнишь, сидим спокойно у костра, а он ни с того ни с сего стихами заговорил?

— Как же не помнить... Я их даже записала тогда:

...Настанет день, судьба не сбережёт.

Увы, надежды суетны и жалки.

И я уйду, но этот мой уход

Пускай со мной случится на рыбалке.

А люди, что ж, поднимут и снесут,

Придут к столам, помянут кое-как,

Плитой придавят и напишут: «Тут

Лежит такой-то — грешник и рыбак».

— Ему лет пятьдесят было. Недавно на пенсию вышел. Заядлый рыбак. Бывший военный. Майор. Для внучки старался — рыбкой хотел порадовать.

Старик растерянно улыбнулся, обнажив блестящие металлические фиксы.

— Посидели, вот как сейчас, у костра. Я на берегу остался сети перебирать. Его жена ушла в машину спать. Моя, с удочкой, на дюралке отправилась. Петрович на своей лодке со спиннингом по губкам. У травянки основной жор как раз закончился, а у глубинной только начинался...

...Петрович выбрал из своего рыбацкого набора финскую блесну-воблер (друзья привезли неделю назад в подарок на день рождения). Это была крупная рыбка с двумя острыми тройниками, на брюшке и хвостике, с чёрной спинкой, пятнистыми блестящими боками. Потянешь в воде — словно раненая плотичка на ходу. Поменял в катушке леску на крепкий плетёный шнур. Щука — противник достойный, тут основательность нужна.

Перед забросом Строев встал. Двухместная лодка с надувным дном это позволяла. На озере ранним утром спокойно. А закидывать спиннинг стоя — одно удовольствие, каждый подтвердит.

Солнце ещё не коснулось горизонта. Седые сумерки на короткое время хозяйничали в этом уголке природы, окунувшись с головой в сладкую пору белых северных ночей.

Фёдор Петрович взял спиннинг в правую руку, левой перекинул фиксирующую дужку в свободное положение. Короткий боковой взмах и... блесна летит точно в чистое окошко среди высокого тростника.

В том месте, куда только что приводилась рыбка, по глади пошли круги. Он стал плавно вращать рукоятку катушки, как вдруг шнур натянулся и застыл. Зацеп!

Не было никаких сомнений, что это крупный топляк или коряга. Когда случается настоящая поклёвка или крючок задевает за траву, всегда чувствуется: шнур ходит. А тут — намертво встал.

Не беда. Придётся подгрести на лодке и отцепить тройник. Двух минут не пройдёт. Можно даже для интереса время засечь...

«Командирские» показывали два часа ночи.

Неожиданно удилице согнулось крутой дугой, катушка пискляво затрепала тормозом... Что-то, остановившее в глубине блесну, ожило и настойчиво потянуло за собой шнур.

Щука. Огромная...

Попалась!

Плетёнка продолжала уходить в тёмную предрассветную воду. Майор сделал потуже тормоз катушки, чтобы рыбине требовалось большее усилие на перетягивание.

Ничего. Если нормально проглотила блесну, никуда не уйдёт. Эту плетёнку буксиром не порвать. Главное — успокоиться и не торопиться.

«Не спешить!» — как заклинание повторял он.

Измотать её.

Утомить.

Перемудрить.

Он принялся подкручивать катушку. Рывок — шнур заскользил прочь.

Выждал минуты три. Дал рыбе успокоиться. Опять сделал несколько витков. Рывок! Ещё несколько метров ушло вглубь.

Мельком глянул на часы: половина третьего. Полчаса таинственная рыбина в ответ на попытку вымотать лесу стравливала её десятками метров в свою пользу. Пока получалось не как в сказке: «по щучьему велению», да не «по Емелиному хотению».

Майор ещё туже затянул тормоз.

Попробовал мотать. Подалось. Один метр выбрал. Три. Четыре.

Глядь, в семидесяти метрах на поверхности образовалось волнение, словно какой-то чудовищный зверь выталкивал воду из глубины. Но ничего так и не появилось. Вместо этого лесу опять сильно дёрнули и отвоёванные метры стравили с излишком.

Между тем рыба стала утомляться. Это чувствовалось по всему. Она ещё не показывалась, но выдёргивать помногу шнур на себя уже не могла. Фёдор Петрович потихоньку выбирал слабину сразу, как только возможность представлялась. С каждым витком зелёного шнура, с каждым метром его, неизвестное чудовище приближалось к своему концу.

Метрах в пятнадцати от лодки краем скользнула чёрная спина с гигантским плавником. Толком не видно было, где эта спина начиналась, где заканчивалась.

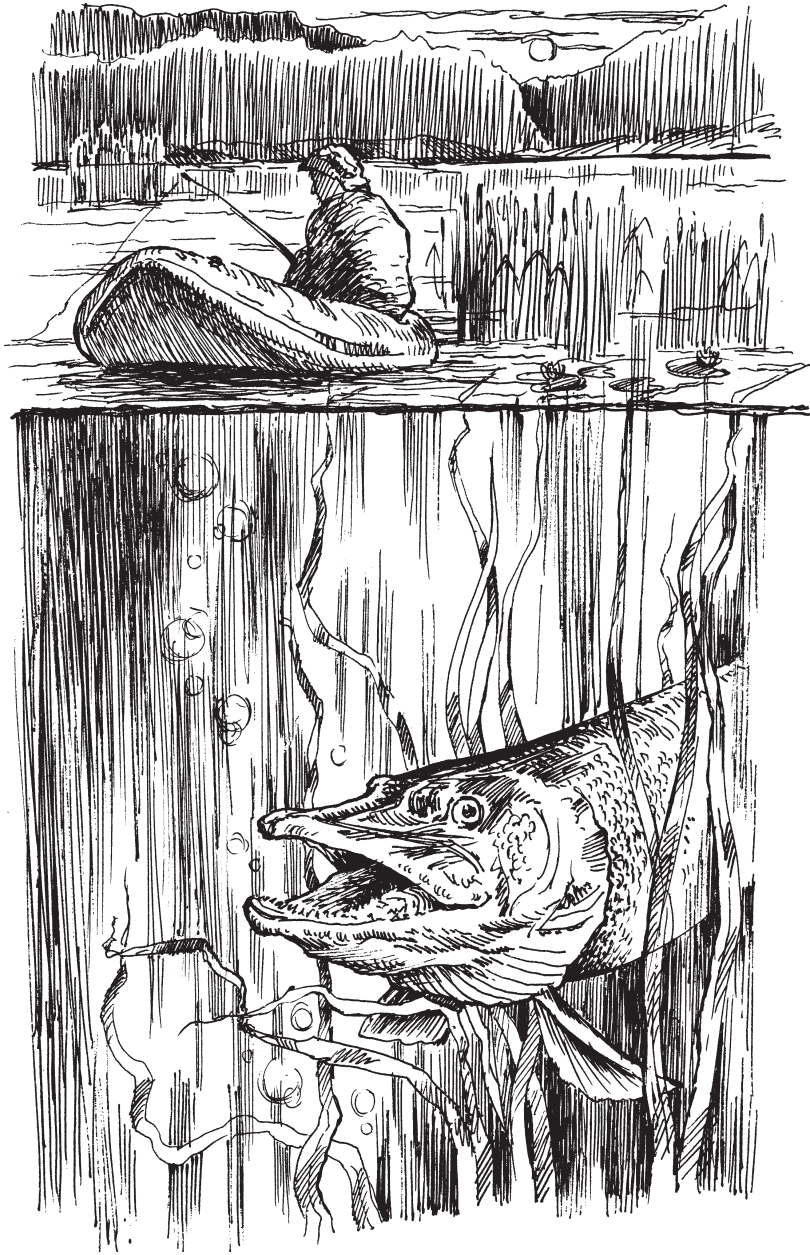
Так вот ты какое — Сязозерское чудовище!

Петрович поправил очки на вспотевшем носу. Пока со щукой тягался, лёгкий незаметный ветерок отогнал лодку от берега. До рыбины оставалось метров десять, но её по-прежнему не было видно. Она шла глубиной.

Строев не узнавал себя. Не было азарта. Он лишь машинально выбирал и выбирал слабину. По телу плыл холодок.

Предрассветные сумерки. Резиновая лодочка, давно отслужившая свой век. Метров триста до берега. На себе неповоротливая, под зябкое утро, рыбацкая одежда. И щука. Огромная щука размером с морёный топяк, для которой озеро — родная стихия.

Он догадался, что никакого ветерка не было вовсе. Всё это время лодку в открытое озеро тащила за собой рыбина. Фёдор ухватился за шнур и крутанул



несколько витков вокруг рукава фуфайки. Пытаться удержать такого чёрта удищем из хрупкого стекловолокна было безумством.

Вдруг хрустальная зеленоватая вода заклокотала, и совсем рядом смиренно всплыла, будто малая подводная лодка, старая щука длиной под два метра. Из приоткрытой зубастой пасти её торчала наружу половинка блесны.

Такую громадину сачком не возьмёшь. Как грузить её в лодку?

Лениво шевеля хвостом и плавниками, щука внимательно разглядывала Петровича. Её чёрные немигающие глаза, с ярким жёлтым ободком по краю, смотрели тяжело и угрюмо. Верхняя челюсть напоминала блестящий чёрный капот от «Победы». На хребте грязно-зелёным бархатом рос мох.

Щука давала себя рассмотреть и при этом наслаждалась смятием врага. Дыхание её было спокойным, движения плавными, упруго-размеренными. Что-то не чувствовалось в ней устали...

Майор парализованно стоял на полусогнутых ногах. Лево́й дрожащей рукой он придерживал, словно протез, правую руку с намотанным шнуром. Широко раскрытые глаза его в ужасе глядели в медленно открывающуюся пасть северного крокодила.

Он догадался, что произойдет в следующий момент. Он всё понял. И знал, что исправить уже ничего нельзя...

Эти мысли пронеслись вперемешку с воздушными пузырьками кипящей воды после того, как хищник тяжёлой торпедой двинулся вперёд, занырнул под лодку, играючи опрокинул её и увлёк в свою стихию Строева.

Постреливали редкие еловые угольки из костра.

Старик продолжал:

— Я пока с одной сеткой возился, пока с другой — время-то шло. Причаливает моя, вся испуганная: «Фёдор утонул». Я ей: «Чё ты мелешь, дура? Какой утонул?»

Клава перебила:

— Главное, я сама слышала, как он звал меня. А плавать-то не умею. Да и далеко. Темно. Страшно.

— Мы с ней стали общаривать губы, кричать. Нашли его лодку — перевёрнутая. Самого нет. Что с ним случилось — непонятно. Такой спортивный. И до берега не так далеко. Попробовали блесну кидать, может, зацепим. Тоже никак. Жену разбудили, Валентину. Ей сказали... Ой, в общем, такое дело...

Клава теребила в пальцах матерчатую тесьму и сосредоточенно слушала мужа, всматриваясь в сполохи пламени.

— Что делать? Я на машину, в Эссойлу, это ближайшее село, — к участковому. Дни выходные. Он поддатый. Но делать что-то нужно. Я: «Так, мол, и так... Помогите найти». А он: «Это озеро в наш район не входит. Тебе нужно заявлять в Суоярвский райотдел». Говорю: «Так позвоните туда!» — «А мне за чем?» Я и уговаривал... И денег на бутылку давал. Нет, и всё. Говорю: «Вы хоть запишите...» Ни в какую.

Николай Иванович достал алюминиевый портсигар. Поддел пальцем беломорину. Вытащил из костра горящий сучок. Прикурил.

— Делать нечего. Думаю, нужно «кошкой» пробовать... Нашёл у мужиков в совхозном гараже проволоки, пятёрки, и назад к бабам. Сделали крюк, верёвку к нему покрепче, и давай с его женой кидать по кругу в том месте, где лодку нашли. В одну сторону, в другую. Слышу — есть. Подтягиваю. Он как на корточках сидит. Спина прямая, руки вперёд, будто обнял кого.

Иванович, не докурив, смял папиросину, поднялся и слегка пригнув ноги в коленях, показал позу утопленника.

— Даже очки не слетели. Видно, сразу затих... Может, сердце? Мы его в лодку — куда там... Пришлось зацепить покрепче и на буксире до берега. Мотор завёл и на малых. Жена его в лодке воет. Моя — тут ревёт. К берегу-то стал править, здесь мелко. Мотор заглушил. Верёвку, сколько мог, размотал, подгрёб к берегу. Дальше нужно тащить. Вылез по пояс в воду. Валентина лодку сама причалила. Попробовал тянуть: не смогаю. Тяжёлый, чёрт! Бабы ко мне на помощь. Втроем его, вот сюда...

Николай Иванович повернулся к берегу, припоминая подробности. После некоторой паузы поднял правую руку вверх и отрубил по воздуху.

— Вот здесь вытаскивали... Да, мать?

— Ты про блесну-то расскажи, — напомнила супруга.

— Да, точно, вытаскиваем, смотрим, у него на правой руке шнур рыболовный намотан. Начал выбирать: вертлюжок, кольцо — на месте. А блесна наполовину перекушена, как кто клещами её пополам... Ну вот, значит: усадили его в их машину, я за руль — он рядом. Бабы — на нашей. Моя — за рулём. Еду, самого оторопь берёт. На улице жарыща, градусов тридцать, а рядом-то... И холодом от него веет таким нехорошим. Приехали в морг, в райцентр. Не берут. Документы требуют. Ты же знаешь, сейчас не до людей. Подаю паспорт. — «О... так у него прописка не наша. Не возьмём». — Ё-май-ор!!! «Мне что, — говорю, — у себя его прописать? Идите и сами с ним договаривайтесь». Выскочил в сердцах. Сам Валентине: «Тебя зовут!» Та, знай, голосит не смолкая. Вся на корвалоле. Моя

хотела проводить. «Сиди, — говорю. — Без тебя управятся». Дождлся, пока за Валентиной дверь закрылась, сел в машину — и ходу.

Николай Иванович довольно рассмеялся.

— Буду я ещё с ними спорить.

Он встал, размял затёкшие суставы. Посмотрел на озёрную гладь. Над озером ровной дымкой стелился туман.

— Летняя ночь, как заячий хрен — короткая.

— Ну, вот при лодях-то... — упрекнула Клава, — другого сравнения у тебя, конечно же, нету.

— С каких это пор «заяц» — матерное слово?

В тростнике раздался всплеск. Кольцами по воде пошли, затухая, круги.

— Вон — щука жорится. Она хватает ту рыбёшку, что помельче, а мы — её и друг друга.

Над лесом, где подтягивалось к горизонту солнце, ярко заалело. Воздух становился светлым и прозрачным. Туман над водой рассеивался.

Всё вокруг, умытое росой, заискрилось, засверкало. Солнце, выглянув из-за дальнего леса, бросило на зеркальную поверхность яркий золотой мазок. Какая-то птица завела возню в камышах. Потеплело.

Комары выпили ещё по одной капле нашей крови. На посошок!

Недружно затянули песню лесные птахи, выражая своё восхищение новым днём, восхваляя трелями дивное устройство жизни.

Им неведом иной мир.

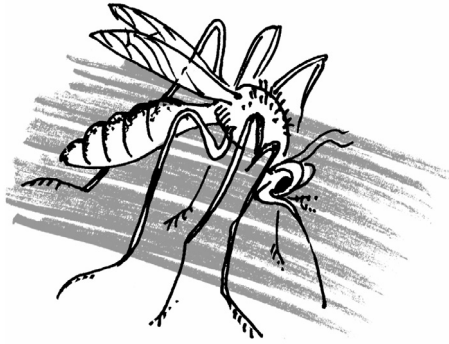
Они поют — потому что любят мир этот.

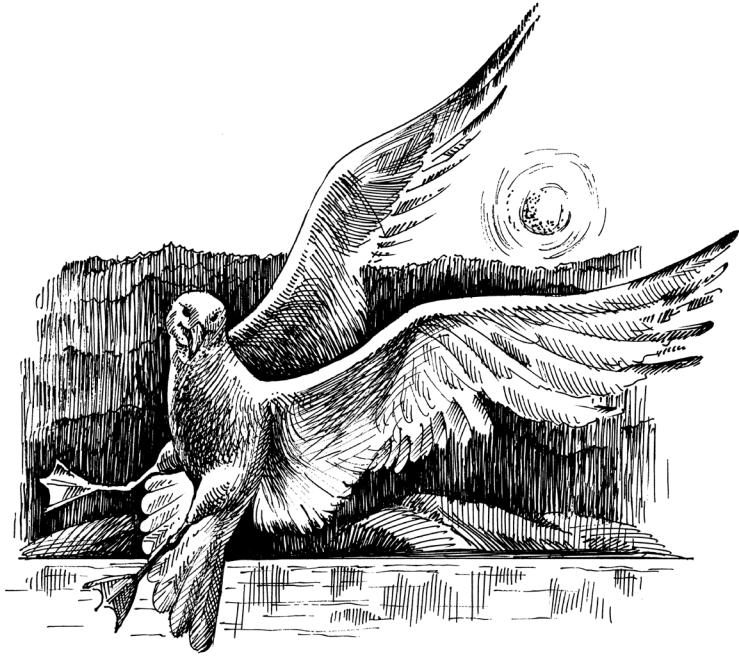
Любят таким, какой он есть, и делают своим пением его ещё краше.

Карелия, г.Петрозаводск, 2007 год

Примечание:

В рассказе процитированы строки из стихотворения Дмитрия Горбова «Когда бы знать...».





Офицер запаса

*...Настоящая любовь возникает
после того, как желания уже утолены.*

Оноре де Бальзак

Война — всегда только горе и страдания. Только раны.
Не пойму, почему же тогда Моя война запомнилась мне житейскими, заурядными ситуациями?

Военный 1981 год.

На почтовых конвертах, приходящих из дома, вместо Афганистана указывали узбекский город Термез: «вэ че» такая-то. А стояли мы в городе Айбак, в двухстах километрах от Мазари-Шарифа.

Двухэтажная вилла, в которой размещалась наша оперативная группа, раньше, при шахе, принадлежала финансисту. Высокий глиняный дувал, сад. Вдоль стены — миндаль. Он в марте начинает цвести, обливая стену белым, и только к ноябрю созревают орешки. Висят на тонких веточках плоды граната размером с гандбольный мяч, зёрна сочные, сладкие.

Не военная база — прямо Эдем. Только без женщин...

Как там моя Светлана?

Дома и не представлял, что внутри будет так щемить при воспоминании о ней. Вот дела... Мой «март» давно прошёл. Виски седые. А мысли в голову лезут совсем не военные. Домашние мысли.

Домашней была и наша экипировка.

Мы ходили по-гражданке, кто в чём приехал. Советско-крестьянский покой предполагал практичное, немаркое, на вырост. Может, поэтому старший лейтенант из Гомельского управления с первой же полочки и купил себе в дукане американские джинсы.

Да не какие-нибудь — «Вранглер»!

Плотный материал цвета индиго, лейблы, аккуратные медные заклёпки. По карманам красивой строчкой вьётся крепкая оранжевая нить. Целая тысяча боевых афганей ушла на заветную покупку.

Старлей сразу же напялил их и вышел во двор. По-ковбойски, картинно, прошёлся из края в край. Он даже не пытался скрыть, что фланирует по утоптанному земляному подиуму исключительно для показа обновы. Его ладная фигура в штанах вероятного противника привлекала внимание всей группы. И офицеры, и бойцы из отделения связи невольно прервали свои занятия. Дивились на него. В СССР купить такую модную одежду в то время можно было только лишь у спекулянтов либо в валютном магазине, куда простым смертным вход заказан.

И тут неожиданно из кунга, нашей радиорубки на колёсах, выпрыгнул офицер связи:

— Старший лейтенант и вы, майор, — бегом в машину, к «вертушке». Приказ старшего зоны: засечь огневые точки моджахедов в ущелье, по ходу выдвижения колонны на Таш-Курган. Местный товарищ уже в вертолёт.

Лейтенант по-бабьи засуетился:

— Я сейчас, только джинсы переодену.

— Отставить! Потом переоденетесь. Не успеваем.

Мы на ходу запрыгиваем в уазик, мчимся к вертолёту. Двигатель военной птицы запущен. Ныряем внутрь. Лопасты сразу начинают набирать обороты.

— Не хватает ещё испачкать их в первый же раз. Чёрт дёрнул надеть...

В поисках сочувствия он посмотрел на меня. Я понимающе кивнул.

Весь полёт старший лейтенант был мрачен и глухо матерился себе под нос.

В кабине места хватает только двум пилотам. Поэтому приспособивались: открыли дверь, и на высоком пороге примостился наводчик, пуштун; над ним, заслоня дверной проём, навис старлей. Проводник-наводчик говорит — лейтенант тут же пилотам переводит. А пока всё спокойно, этот афганец Ахмад, знай себе, поёт на фарси единственную весёлую афганскую песню:

Мо мирим бэ Таш-Курган, Таш-Курган.

Мо мирим бэ Таш-Курган, Таш-Курган.

Мо мирим бэ Таш-Курган, Таш-Курган.

«Мы едем в Таш-Курган, Таш-Курган».

По корпусу защёлкали пули. Попали под прицельный огонь...

Вертолёт — это вам не стриж. Это скорее поднявшийся на крыло динозавр среднего размера. Идеальная мишень.

Залетаем в какое-то узкое извилистое ущелье. В левый иллюминатор я замечаю мелькающие лопасти и серую каменную стену. Считанные метры отделяют вертолёт от рокового касания. Вниз не видно, какая под нами глубина. Вверх — не видно неба.

Отчётливо слышно, как свинцовые пчёлы кусают борта машины. Вдруг пулей пробивает брюхо нашего Ми-8 и по касательной задевает лейтенанта штанину на заднице. Кожу содрало чуть. Крови нет. Но на новых фирменных... американских... джинсах — дыра!

— Да ну, на хер... с вашим Афганистаном! В гробу я видел эту братскую помощь. Чтобы я ещё раз...

Перекрывая рёв моторов, лейтенант разгорячённо размахивал руками и кричал всё это в лицо нашему афганцу. Ахмад боялся пошевелиться. Часто моргая, он в страхе глядел на «старшего русского брата». Ни слова не понимал, лишь вздрагивал от каждой новой тирады.

На крик обернулся второй пилот:

— Что у вас тут? Ранило кого?!

— Да идите вы все в ...опу!!!

Вылетаем из ущелья: открылось далёкое пространство; сверху, снизу — везде ласковое голубое небо.

Проскочили. Полной грудью вдыхаем горячий воздух.

В тот раз мы засекали все огневые точки духов, вернулись живые, однако старший лейтенант считал этот вылет самым неудачным за всю службу в Афганистане.

Ахмад был согласен.

Подобрать хорошего проводника-наводчика крайне трудно.

Местное население свои тропы знает хорошо, но куда уходят бандиты, могут показать только пешком, «от базара». Проводить к нужному месту по воздуху — не проси. Крутят головой. Путаются. Таджики, узбеки, хазарейцы, пуштуны и эти... отец народов-то... туркмены. Язык кругом: пуштунский, фарси, дари. Из кишлака возьмёшь такого молодого парня, первый раз летит. Бойтся, дрожит. А в вертолёте и без того тряска, грохот. Русского, естественно, не знает.



Не сразу и поймёшь, что он бормочет. Языковой барьер — серьёзная проблема. Неожиданно встрепетается, глаза широко распахнёт, тычет рукой вниз.

Пилот думает: «Вражий штаб!». Ещё переспросит для верности:

— Этот?

— Этот! Этот! — радостно кивает.

Ракеты — в цель. Прямой наводкой. Внизу разрывы, дым, пыль. Нету хижины.

— А-аах!

Оказывается, это его родной дом. Похвастаться хотел...

Замолкает навеки. Дар речи утрачен окончательно. Теперь на него рассчитывать не приходится. Больше ничего не покажет.

И победить без помощи афганцев нельзя. Поэтому в работе с местным населением мы старались, как могли, придерживаться особой деликатности и такта.

А нашим постоянным гидом сделался Ахмад.

Он был в составе трёх местных афганцев из подразделения царандоя — та-мошней милиции — прикомандирован для обслуживания и охраны нашего пункта. Подбор солдат царандоя обеспечивал ХАД — местное КГБ. Соответственно сотрудников этой службы мы величали «хадовцы», а их детей «хадёныши».

Ахмад прекрасно готовил. Кашеварил он всегда на открытом огне, на плите не умел. (Дров, слава богу, хватало — горы ящиков от снарядов.) Затянет себе под нос заунывную восточную песнь, мечтательно прикроет глаза и давай шинковать в салат перцы, помидоры, зелень, промывать рис для плова, печь лепёшки, жамкать кусочки мяса в маринаде на шашлык.

Мэро бэбу-ууу-ууууу-с, мэроо-оо-о бэбус.

Мэро бэ-э-э-бусс, мэроо-оо-о-о бэбус.

«Меня целуй».

Бароййе охарин бор
Тора хода негох дор
Ке миравам бэ суй-е сарневешт.

Бахорэ ман гозаштэ
Гозаштэхо гозаште
Ке миравам бэ суй-е сарневешт.

Дохтарэ зибо
Эмшаб бо то мимонам.
Дохтарэ зибо
Эмшаб бо то мехмонам...

У нас сказали бы: «Давай сблизимся и разбежимся». Там по-другому:
«Красавица, я сегодня с тобой останусь. Я сегодня твой гость. Весна моя прошла. В жизни всё проходит. Поэтому поцелуй меня в последний раз, и я уйду в сторону своей судьбы».

Ахмад готовил отменный плов.

Возьмёт огромный, будто банный котёл, казан. Нальёт на дно растительного масла. Масло своё, какое-то особенное, исключительно вкусное. Сверху морковь, репчатый лук, крупный, сладкий. На овощи — мясо: телятина или баранина большими кусками. (Такого мяса как «свинина» для них в природе не существует.) Дальше — рис горой. Закроет тяжёлой крышкой казан — и на костёр. Часа два, два с половиной всё это дело на огне стоит.

Потом крышку открываа-а-ают... Ду-ух невероятный!

Рук своих Ахмад никогда не мыл. Считал — дурной тон. Раковину, кран с холодно-горячей проточной водой, кусок душистого мыла — всё это разом заменяла ему бурая тряпка, которой не давал он ни продыху, ни покоя. Утирка впитывала в себя соки и запахи каждого блюда, соки смешивались, на жару доходили. И уже следующее кушанье в его волшебных руках приобретало какой-то особый цимус, неповторимую пищевую формулу.

Каждый из нас тоже пытался готовить, но так вкусно не получалось. Мы гадали: может, он специи какие особые кладёт или шепчет над едой чего. Не может же быть, что всё дело в тряпке. К ней все потихоньку привыкли. Тем более, что на приёме у губернатора я видел такие же. Их подавали к чаю. Каждому свой чайник, блюдечко с восточными сладостями и, в качестве салфетки, для утирания губ, рук — тряпицу...

Хуже другое: у Ахмада постоянно был насморк.

Прозрачная, словно из горного источника, капля всегда висела у него на кончике носа. Он никогда не шмыгал, не втягивал её дыханием внутрь. (Это расценивалось им как верх бескультурия.) Только стряхивал её пальцами, или она падала под тяжестью собственного веса, освобождая место для новой капли. Пальцы оботрёт о тряпку и дальше готовит.

Однажды он шёл с огромным блюдом плова. (Мы принимали местных партийных вождей). Обе руки у него были заняты. Капли из носа, будто из неладно пригнанного краника, падали одна за другой на парящую баранину с рисом и овощами.

Наше обращение в местную кулинарную веру на этом закончилось.

Уволили мы афганца за эти сопли.

Сами стали готовить.

Однако у нас были и другие заботы.

Город Айбак — место беспокойное. Три года, сотни дней и ночей на войне, в чужой враждебной стране, под пулями. Я не сразу попривык.

Днём мирная жизнь. Всё тихо, спокойно, замечательно. Солнце светит. А где-то с полвосьмого, только начинает смеркаться, первые, отдельные: «Бук! Бук!» Стемнело. И потом — сплошная канонада. Трассирующие пули. Причём всю ночь. Не прицельно, просто так. Я удивлялся: кто в кого? На хрена это нужно? С рассветом — стихает, стихает. Всё. Стихло.

Хотя стреляли не всюду.

В Кабуле, при посольстве, под охраной было покойно. Доходило до курьёзов. Один офицер из центрального аппарата в рапорте написал: «Прошу разрешить мне остаться в Афганистане ещё на один срок, потому как у меня сгорела дача, а другого способа заработать на её восстановление я не вижу».

Афганистан позади.

Мирная жизнь. Сколько раз я пытался представить её там, среди враждебной пыли. Никак. Только желанные образы жены и сына неясными миражами вставали над раскалённым дневным песком.

Сушь.

Солнце.

Оно слепит глаза, как на допросе.

Мелкий вездесущий песок проникает всюду: в рот, под воспалённые красные веки, на затвор автомата, сколько ни чисти. Были моменты, когда желание освободиться от противного хруста на зубах заглушало всё остальное...

Всё, даже страх перед шальной пулей.

В такие минуты, когда человек осознанно, устало глядит в глаза смерти, для него всё просто и понятно.

Просто, как приказ. И не выполнить его нельзя.

Просто, как Родина. Трудно представить, что она может забыть о тебе...

Просто, как любимая жена.

Просто и надёжно, как боевые друзья.

Просто, как жгучая жажда и мечта о глотке стывлой ключевой воды.

Как всё просто и как сложно...

Почему моя память старается приукрасить время службы, которое наши кадровики учитывали “день за три”? Почему даже под пулями, зная, что дома ждут и за спиной надёжный тыл, мне было проще?

Может, оттого, что здесь, в мирной жизни, всё оказалось трагичнее. Незримый фронт был повсюду. Война шла без правил. Не с чужими — со своими. У каждого своя война.

Как-то разом всё закрутилось.

Страна в одночасье сделалась другой.

Светлану с работы деликатно, но настойчиво попросили. В глаза, прямо не говорили, за что. Давали понять: из-за меня. Теперь позорно, видишь ли, в органах служить стало. Так считали уже не только на кухне. Не только на улице.

Для того, чтобы избавиться от старой гвардии, чтобы провести нужные им изменения, контору несколько раз переименовывали. И кадры зачищали, зачищали. Когда это не помогло, после девяносто третьего, сверху в каждое управление пришла разрядка: сколько сотрудников должно быть уволено в первом квартале, во втором... Сколько за год. Людей убрали сотнями.

На их место набирали новичков.

По знакомству. С улицы. В спешке...

В этой ситуации оставаться на работе я не мог, подал рапорт. Хотя служить нравилось. Предлагали повышение. И нужно-то было всего ничего: сдать людей, с кем работал.

Своих сдать?!

Ну, это уж — дудки!

Во время обеда, подгадав, чтобы никого не было рядом, сжѐг материалы по своей агентуре в нашем «мартене».

В диссидентских материалах мне как-то попала на глаза фраза: «Честь воина — не в покорности государству, а в заветах рыцарства». Хорошо помню, смеялся тогда от души.

Оказалось, государства-то разные бывают.

Вот превратился в пенсионера. Это я-то. Ещё сегодня марш-бросок, в полном боевом, — для меня не вопрос, а тогда и многим молодым я нос утирал. Незаметно остались без денег. Ну да хватит об этом...

Пока меня не было, вся нежность, предназначенная двоим, доставалась сынишке. Он рос обласканным, зализанным.

Чтобы не снимать сына из бассейна и английской школы, Светлана продала сначала свои серѐжки, затем обручальное кольцо. Тянулись из последних сил. Ведь не кукушонок, свой. Выучили не хуже, чем у других. А запросы у него всё растут и растут...

Сын переменялся. У него девки, одна за другой. Приводит их сюда. Куда ещё?! В двухкомнатной квартире не сильно размахнёшься. Напьются. Ночами песни поют, визжат в детской, ржут, голые пробегают в туалет.

Я утром пытаюсь завести с ним разговор, он в ответ: «Я не хочу ждать вашего проклятого «завтра». Не хочу вообще ждать. Я жить хочу. И буду. Сейчас. А вы провалитесь пропадом вместе с матерью!!!»

И, выскочив из своей комнаты, зло бросает мне в лицо:

— Ты видел картину «Сын Ивана Грозного убивает своего отца»?

Жена не выдержала. Сорвалась. В себя ушла. Стала заговариваться. В поликлинику возил, говорят: «Кладите в стационар». Это в психушку, то есть...

Теперь четыре года так.

Перед Афганом не успели выехать из коммуналки. Пообещали: «По возвращении». Раз вернулся живым, деваться некуда — дали «душку».

Хотя без людей хуже.

Дома её не оставишь одну. Ходит в забытѐ. Волосы неприбранные, куделью. Взгляд бессмысленный. В туалет или что ещё — сама пока. Или вдруг станет говорить быстро-быстро. Не понять половину. Взгляд безумный. Сына перестала узнавать. Меня несколько раз называла Света...

На днях Володя Зайков, в одном подразделении служили, пригласил на рыбалку. Я решил Светлану на недельку отправить в больницу. Может, подлечат заодно. Захотел отдохнуть. Не могу уже. В бабу превратился: и стирка, и уборка, и варка на мне. Пока жена была здоровая, я иногда к девчатам подваливал. И хотелось, и могло. Даже интересно было: вроде на оперативной работе.

А сейчас не пойму, что со мной. Скрываться не от кого. Никому отчёта давать не надо. Рад бы отчитаться, да не нужен мой отчёт никому...

С медиками договорился. Вызвал «скорую».

Пока бегал в магазин, приехали. (Ни раньше ни позже.)

У подъезда «скорая помощь». Крест, будто алой кровью по белому.

Беда явилась не чёрным вороном — тревожной чайкой.

Дверь в квартиру приоткрыта. В оторопи остановился. Помедлил. Захожу. В прихожей санитар с носилками. Фельдшер с саквояжем.

Светлана...

Она сидела на пуфике в большой комнате. Некрасивая. Бледная. Голова безвольно наклонена набок. Тёмно-русые волосы до плеч. Длинные худые руки с неухоженными ногтями плетью лежали на коленях. И всё это — моя жена.

Она заметила мой приход. Голова её дёрнулась. Глянула отрешённо снизу вверх, затем глаза усталились в одну точку, чуть выше моей переносицы.

Фельдшер «скорой», женщина лет сорока в мятом колпаке, дымила, закинув ногу на ногу. Увидев меня, затушила папиросу в блюде и с видимым облегчением поднялась:

— Вы кем больной доводитеесь?

— Муж...

— Ну, вот и славно. Госпитализируем в стационар. Ей самой будет полезней. Да и вам, думаю. Вы мужчина ещё молодой... Давайте грузить. Петя, сделай укол.

При этих словах жена как-то сжалась вся, сделалась меньше, беспомощней. Пальцами вцепилась в края пуфика.

— Не нужно. Она сама. Светлана, вставай. Пойдём.

Жена посмотрела сквозь меня и глухо произнесла:

— Куда?

— Пойдём.

— Куда они меня ведут?



— Светлана, пойдём. Я с тобой.

Попытался ей помочь. Она тихо поднялась и, слегка покачиваясь, молча пошла к двери.

Лифт был заранее вызван. Она шагнула в него, будто в пропасть. Я следом.

— Свет, всё будет хорошо, — я погладил её по плечу.

Приёмный покой. Бумажные формальности. Медсестра, открыв ключом дверь в отделение, заученно придерживая за локоток, увела её вглубь. Она ушла, даже не посмотрев на меня.

На рыбалке были вдвоём. В Подмоскowie не остались, уехали в соседнюю Владимирскую область. Набрали водки. До рыбы дело не дошло. Просидели у костра и одну, и вторую сентябрьские ночи. Пили, вспоминали, поминали, молчали. В Москву вернулись в среду.

Светлану нужно было забирать лишь в следующий вторник.

Опять пил. Уже один. Ходил в магазин. Ещё пил. От водки и вина только чернело на душе. С сыном в квартире расходились краями, словно чужие. Просил ведь навестить мать в больнице, пока меня не было. Спрашиваю: «Ходил?» Не отвечает. Да чего спрашивать?! Вижу: не ходил. Яблоки как лежали приготовленные на кухне, так и лежат.

Началось в четверг. В пятницу больше. Такая тоска взяла. Никогда и на день не оставлял я её одну. Как она там без меня?

В субботу места не могу себе найти. Нет, — чувствую, — до вторника мне не дожить.

Принял душ. Выпил крепкого чаю. Тщательно побрился. Погладил костюм. Надел белую рубашку, галстук. Начистил туфли.

Поехал. Волнуюсь.

У метро купил букет полевых цветов.

Приёмный покой. Дежурный врач:

— Раньше решили? Ну, забирайте. Её лекарства уже не помогут. Запустили вы больную.

Я томился в ожидании на кушетке. Её долго не приводили. Сколько же можно передевать?! Привели бы сюда, я сам.

Слышу: в коридоре за дверью шаги. Замок открывают. Дверь настежь. Медсестра заводит Светлану, тихую, отрешённую. Под глазами чёрные тени.

Увидела меня. Остановилась у порога. Мы смотрели друг на друга и молчали.

Я не знал, куда деть руки, куда сунуть букет, не мог двинуться с места.

Пронзительная пауза повисла между нами.

Напряжение возрастало. Обманчивая тишина сгущалась, накапливая невиданную энергию, готовую, словно мощная электрическая дуга, соединить нас.

Вдруг лицо у неё как-то странно переменялось. Глаза широко раскрылись, наполняясь слезами. В них возник свет сознания.

И с воем она кинулась мне на грудь.

— Я думала, не увижу тебя больше... Родной.

Мы с жаром обнялись. Она громко рыдала.

У меня на скулах заходили желваки. Я закрыл глаза. Уткнулся лицом в её растрёпанные волосы. Смешанные чувства изумления, восторга, миновавшего

горя, внезапно свалившегося счастья захлестнули меня. Лево́й руко́й я крепко прижимал её к себе, а право́й глади́л по голове, перебирал пальцами пряди волос. Сердце её часто билось. В тихой радости приоткрыл глаза.

Волосы её сделались седыми.

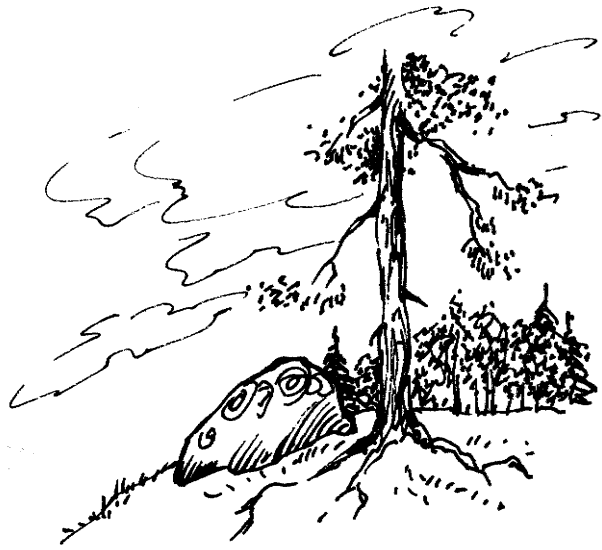
Незнакомое прежде, тектонически сильное чувство переполняло меня.

Я не знал ему названия.

Но оно владело мной безраздельно.

г. Москва, 2007 год





Колежма

*...Navi-ga-re necesse est. —
Плавать по морю необходимо.*

Девиз мореходов

Белое море.

Уже от самого названия веет чем-то далёким, суровым. Произнесу эти два слова — и будто холодная сыпь солёной морской волны обдаст с головой.

Туда, на северные острова, поехал я в начале ноября со своим приятелем Сергеем Буровым на лосиную охоту.

В Беломорье все мужики «морехо~~щи~~ци». Вот к одному из них, Савве Никитичу Некрасову, в Колежму мы и отправились.

Сергей в двух словах объяснил:

— Савка — мой давний друг. Истый помор. Моряк. Горлопан. Они все горлопаны из-за этого моря — его ведь перекричать надо. К Савве приезжаешь, чувствуешь, он тебе рад. В душе у человека никаких тёмных закутков. Да там по-другому и нельзя. Сама природа такая.

Колежма — старинный посёлок на берегу Онежской губы Белого моря.

Ещё при Иване Грозном перешли колежемские земли вместе с рыбными ловищами и соляными варницами в собственность Соловецкого монастыря.

Приехали мы под утро. Был отлив. Вода ушла, обнажив размашистые отмели и бугристые острова из жёлтого песка. Мотобот у причала оказался на суше. Лежат на боку лодки, стоявшие в прилив на якорях, — вода суха — куйпога.

Я поднялся на гледень.

Внизу рубленные дома, баенки, ломаные линии изгородей из кольев, деревянные гати-мостовые, а дальше к горизонту — пустынная гряда холмов и почти плоская тундровая равнина.

И запах здесь держится иной — пахнет карбасами, просмолёнными их бортами. Стоит дух влажного песка, мха, сетей и рыбы. Есть какая-то сила в этих домах, в этой природе, которая делает Север ни на что не похожим...

Савва Никитич оказался как раз таким, каким я себе и представлял: лет сорока, чуть выше среднего роста, крепкий, соломенные волосы, пшеничные усы, открытая улыбка.

Увидев Сергея, он шагнул навстречу, широко развёл огромные ручищи и крепко обнял:

— О, Чернобровый приехал!

На следующий день, когда мы остались с Буровым вдвоём, я не утерпел:

— Сергей, а почему он тебя «чернобровым» назвал?

— Отца так звали, и от него это прозвище перешло ко мне. Здесь никого по имени не зовут. У самого Савки прозвище Капитан.

Отчаливать мы решили в момент, когда силы прилива и отлива уравновешиваются, — матёра вода «стоит». В это время Луна, ровно сказочный гигант, после выдоха ненадолго замирает перед тем, как вновь глубоко вдохнуть морем.

Но до этого у Саввы Никитича было ещё одно важное дело.

Василий Шумов, сосед, попросил у него накануне мотоцикл. Он в ответ: «Я тебе дам, но токо верни не по частям». — «Савв, в восемь часов — пригоню под окно».

Но ни в восемь утра, ни в восемь вечера мотоцикл не появился.

— Порато хоцю Ваську увидеть, на беду об ём скуцьяю, — мечтательно произнёс Савва.

Ну, у поморов и речь... Для постороннего уха не сразу и понятная: «Говоря одна, да разны поговорушки».

Дома Васьки не было. Савва пошёл искать. Я увязался за компанию. Одно беспокоило: как я с ним буду общаться? Он же толкует не по-русски.

Центральная поселковая улица круто сворачивала. Мы вышли из-за поворота. Впереди прямой участок дороги. Идут люди. Кто в магазин, кто куда. Женщины, детишки. День в разгаре. Савва увлечённо рассказывает мне что-то.

И вдруг — раз!

Тишина. Замолчал. Остановился как вкопанный.

Чего это он? Весь напряжился, глаза устремились в одну точку, не моргает. Губами шевелит, но не молится. Проследил за его взглядом: на мостике, метров триста от нас, какой-то мужик. Может, Васька?

Савва набрал полные лёгкие воздуха и силой выплеснул:

— ...ыблядок!

А я-то боялся, что он русского не знает.

— Утоплю, с-суку!!!

Матерки осколочными минами летели через весь посёлок по навесной траектории и кучно ложились рядом с Васькой. Смотрю, он заметался по мостику.

Неотвратимо, как Судный Час, Савва приблизился к нему.

— По *ка*льи-то те вот жарну щас!

Перед носом у Васьки, сурдопереводом, образовался кулачище размером с детский футбольный мяч. Мужичонка в ответ лишь шумно сопел и чесал лысину. Голова и плечи его непроизвольно поддёргивались, не давая возможности и нам толком сосредоточиться. В том месте, куда он поглядывал, из-под воды торчал никелированный руль мотоцикла.

Наконец, заикаясь, сосед попытался выстроить речь в свою защиту.

— Ввввы-в...

Лицо от натуги сделалось пунцовым. Я стал ему помогать, подсказывая слова.

Васька, вконец разволновавшись, обречённо махнул рукой и замолчал. Тик у него заметно усилился.

— Поди-ко скоре проць, а то застёгану, — произнёс Савва.

Поостыв, он развернулся и побрёл к дому. Проходя берегом, залюбовался сверкающей на солнце водной гладью:

— Море-то как лёшшище.

Нам пора было собираться и выходить.

Савва Никитич оделся по уму: оплецуха — поморская шапка-ушанка с длинными, до плеч, ушами; лузан, надеваемый через голову, с большими карманами на животе и спине; буксы — непромокаемые, пропитанные жиром рыбацкие штаны.

Наши с Сергеем ватники больше смахивали на сухопутную амуницию.

Карбас, на котором мы собирались идти в море, Савва перегнал к бранице — расчищенному месту на лодочной пристани, куда стаскивают груз. Поклажи набралось прилично, но и лодка большая, надёжная, с дизельным стационарным двигателем-двадцаткой.

Сергей любовно похлопал ладонью по борту, ровно коня по загровку:

— Мало кто сейчас умеет ладить такие. А Савва в этом деле — «жех»! В старину поморы на таких судах за два-три месяца плавания доходили до Новой Земли: «Лодка не канет, не лягуцца да не опружлива — дак и дородно бывает». Во как!

Пока Сергей вычерпывал плицей воду из карбаса, я сел за вёсла. Савва готовил к запуску дизель и капитанствовал:

— Грени-ко ишша маленько.

Я сделал ещё ряд энергичных гребков и вывел лодку с мели. Мотор заработал и, монотонно бурча, стал уводить нас в открытое море.



Сергей долгим взглядом проводил пристань:

— Агой! — Прощай! — говорили в старину моряки земле.

Савва трижды перекрестился.

— Никитич, — усмехнулся я, — небось, и без крестного знамения обойдёмся.

— Кто в море не хаживал — Богу не *маливался*, — уронил он и надолго замолчал.

Курс взяли на север: где-то там пролив Горло соединяет Белое море с Баренцевым. Затем повернули к востоку. Мы угадали в погоду: нежно светило солнце, щёки пощипывал лёгкий «сланец», вода была кротка.

Часа четыре шли на полном ходу.

Вдоль Поморского берега, как Млечный путь, вытянулись острова.

— Остановимся на Мягострове. Вон тот — впереди по курсу. Самый крупный в Онежских шхерах: километров двенадцать из края в край будет.

— Название такое откуда? — поинтересовался я у Сергея.

— Одни считают, от карельского «мяги» пошло. Гора, значит. Но я так не думаю. Очень тяжёлый остров: болотья — скалы, болотья — скалы. Три дня ходьбы по нашей тайге легче, чем полдня тут. Нет ни дорожек, ни тропинок. Звериные только тропы да багульник по колено. Грузно бродить. Через каждые сто метров нужно останавливаться и отдыхать. А есть такие топкие места... Я один раз решил сократить путь, выйти к взморью напрямки, побыстрее. Думаю, раз зверь ходит, и я пройду. От берёзы к берёзе прыгал, пока они вместе со мной в жижу не начали уходить. Одним словом, Мягостров — мягкий.

Пролив Железные ворота, отделяющий Мягостров от материка, мелководен. Поэтому заходили к острову с восточного берега. Он более приглуб, чем остальные. Савва указал место высадки.

Издали я увидел избушку и рядом высокий крест. Сергей пояснил:

— Крест «на добычу» — чтобы рыба лучше ловилась.

Сначала с кормы, потом с носа мы зачали лодку двумя якорями. Раскатали голенища болотных сапог. Сошли в воду.

Савва первым делом подошёл к обветренному сосновому кресту и трижды перекрестился с поклоном.

— Думаешь, поможет? — осклабился я.

— Зря ты так, — упрекнул меня Сергей, — *тоня* — место святое. Приходить сюда надо с чистой душой. В сенях гости по традиции говорят: «Господи, благодости!» Хозяин отвечает: «Аминь!» И только потом входят в избу. А не с шуточками...

Савва отмолчался. Он, словно здороваясь, любовно погладил ладонью шершавую поверхность креста. Постоял.

Перетаскали вещи в избушку — тёмную, приземистую. Заходишь — низко кланяешься. У порога печка-буржуйка. Рядом *истопель* — запас сухих дров. У махонького оконца стол. Раскидистые щедрые полати.

Пока обживались, стемнело.

...Неделю охотимся. Каждый день зверя видим — взять не можем.

Савва предложил:

— Попробуем на Маникострове. Там, если лось зашедший, его легче брать.

Утром мы переехали. Остров маленький: можно организовать загон. Я остался на номере. Сергей с Саввой отправились кромкой берега в обход и оттуда, с подветренной стороны, решили шумнуть. Если зверь в окладе, непременно вывалит на меня.

Я поднялся на взгорок: открытое болото с редкими сосенками, а краем — невысокий, в мой рост, чапыжник. Место хорошее. Лоси, как стронешь их с лёжки, любят закрайком леса уходить.

Слышу выстрел погонщиков. Начали ход. Я снял карабин с предохранителя. Жду. Стою не шевелюсь. Не курю. Дышу через раз.

Морозец подсушил почву и кустарник. На болоте ледяная корка. Жёсткая погода: за версту шорох слышно. Ветер слегка подтягивает от меня. Вдруг — потрескивание веток! Может, показалось? Нет, ещё раз треснуло. Над молодым подлеском плывут рога. Бычара! Самого не видно пока. Остановился, крутит головой: прислушивается, принюхивается, осторожничают. Опять тронулся. Прямо сюда...

Побежала волнительная дрожь по телу.

Осторожно поднимаю карабин. Вглядываюсь в оптику. Вот это рога... Борода. Ноздри раздуваются. Вышел на чистинку. Великан! В пол-оборота повернулся ко мне. Нащупываю перекрестием прицела точку под левой лопаткой. Плавно спускаю курок.

Выстрел!

Бык в агонии прыгнул, не разбирая пути. Рывок. Ещё один. Ноги непослушно подкосились, и он рухнул глыбой на землю.

Захрипел.

Я с гордостью, всей грудью, выдохнул:

— Е-е-есть! Ловко мы его.

Закинув карабин за плечо, пошёл к зверю. Лежит неподвижно, но кто его знает... Лучше подходить со спины, а то, уже умирая, может копытцем гальнуть: как картонную коробку, насквозь пробьёт.

Кровь нужно пустить, пока не остыла.

Уверенно перерезаю горло. (Нож остро наточен: лезвие ещё в Колежме, перед самым выходом, правил.) Бордовый фонтан из шеи сначала хлынул, затем сник. Кровь, крупными каплями зрелой брусники окропляя седую бороду, уносила остатки жизни лесного великана. Величавые размашистые рога, которыми короновали хозяина острова, теперь касались белого багульника. Гармония, веками создаваемая, была нарушена одним выстрелом.

Странно, привычного чувства азарта и радости я не испытывал.

Наступила тишина. Ветер стих. Мне на миг показалось, что вся природа замерла. Сверху раздался скрипучий, хриплый крик. Задрал голову: надо мной чёрной тенью пролетал ворон.

Подтянулись мужики. Сергей крепко пожал мне руку:

— Могучий зверь. Молодец!

Савва Никитич глядел угрюмо.

— Ты чего? — спросил я, заметив, как он переменялся в лице.

— Это не простой лось. Это хозяин тайги! Не надо было его стрелять. Плохой знак. Зря я вас сюда привёл...

В гнетущем безмолвии мы освеживали шкуру, разделали мясо. Голову с огромными, тяжёлыми рогами в двенадцать отростков я взял себе трофеем.

Вышли к берегу, вынесли тушу и вещи, смотрим: карбас-то нам не достать. Качается на волнах: до него метров семьдесят, а может, и того не будет. Вода поднялась. Высоты сапог не хватает.

Наш Капитан растерянно произнёс:

— Чертовщина какая-то! Не могла вода за два часа так подняться.

Нужно раздеваться и вброд. Но ветер... Северный ветер, осень.

Хотя мне и раньше, как раз в эту пору, доводилось подбирать кряковых вплавь. Дело привычное. Я бодро заверил мужиков:

— Сейчас достану.

Сергей категорично:

— Не дури! Это море. Руку в воду опустишь — жжёт во всю силу, а ты вброд... Морская вода — рассол. Уже давно минус, а она не замерзает. Пресные заводи, волохницы, давно во льду, а тут волны плещутся. Мы-то с Савкой мёрзлым морем учёные. Давай останемся до утра. Заночуем. Изба есть и на этом острове. Мяса вдоволь. Чай с собой. Чего ещё надо? Хлеба только нет и соли.

Я разгорячённо перетаптываюсь на месте, слушаю, сам на лодку поглядываю, примеряюсь. Бравый после удачного выстрела.

— Не-е, ночевать будем на старом месте. Выпьём, добычу отметим.

Савва в отчаянии:

— Саня, не баракай! — и обращаясь к Сергею: — Он не бардат ницёво.

Муниди-то себе отморозит.

Показно снимаю шапку, стёганку, рубаху. Разуваюсь. Одежду аккуратно вешаю на борт выброшенного штормом разбитого баркаса.

Савка вслед:

— Ты хоть одёжу возьми, над головой носи. Заскочишь в лодку — оболокайся живей!

Я хотел посмеяться, но отчего-то не стал. «Ладно, — думаю, — возьму. Не велик груз». Самому в душе озорно. Вот тебе и поморы: моря бояться.

Ветер крепчает, пронизывает. Кожа превращается в мелкую кухонную тёрку. Не мешкая, подхожу к воде. Делаю шаг.

— Ё-ёё-о! В-в-вот этга д-аа...

Зря полез. Если бы не мужики, вернулся бы. Но я чувствую на себе пытливые взгляды, которые вилами упираются мне в спину.

Нащупывая опору, по склизкому от водорослей и тины каменистому дну едва-едва продвигаюсь к лодке. Ноги жжёт, как серной кислотой. Мёрзлый рассол, поднимаясь выше и выше, острой бритвой полосует кожу.

Вот чёрт дёрнул!

Пробую ступать быстрее. Не м-мм-мог-г-гу... Зубы лихорадочно отстукивают дробь, своим клацаньем перебивая шумное прерывистое дыхание.

Студёная вода подступает к груди.

— Не могли лодку нормально поставить! Мореходы долбаные...

Я, словно в бреду, дотягиваюсь до просмолённого борта.

Запрыгиваю.

Мокрое тело на морозном ветру, кажется, вспыхнет сейчас.

Одежда ремнём перетянута. Непослушными пальцами пытаюсь ослабить узел. Не хватает силы хлястик дд-дёрнуть...

Наконец-то!

Успеваю заметить, что мой «меньшой брат» спрятался с головой, как черепаха в панцирь. Скорей одеваться! Сперва — брюки. Учили нас так: «Сам погибай, товарища выручай!»

На сырые ноги натягиваю ватные штаны — не лезут. Липнут к ногам. Наконец нацепил и — хлоп! — падаю на дно карбаса, от ветра кроюсь. Лежа одеваю рубаху. Затем телогрейку.

Телогрейка и штаны — моё спасение! С благодарностью вспоминаю Савву... но, будто опасаясь быть уличённым в доброте, отгоняю эту думку прочь.

Обезумев от холода, стараюсь не унять дрожь, а наоборот, усилить её, чтобы согреться. Пробую себя ущипнуть: тело не чувствует новой боли. Оно онемело от боли той. Крепко стискиваю зубы и глухо рычу.

Понимая моё состояние, с берега не понукают. Не задают вопросов. Не острят. Встаю. Выбираю якоря. Несколько сильных гребков — и упираюсь в камни.

Смотрю, мужики запаливают костёр. Не глядя им в глаза, прошу подать портянки и сапоги. Озябшими руками обматываю ступни «ноговицей» и обуваюсь.

Ветхий, отслуживший свой век баркас уже пылает.

Савка зовёт:

— Иди ближе к огню-то. Грейся.

Я молча подхожу к костру с подветренной стороны. Языки пламени и дым ударяются в грудь. Искры пригоршнями звёзд летят на ватные брюки и фуфайку.

Коленям становится горячо. Отступаю на шаг. И здесь жар обнял. Отодвигаюсь ещё дальше. Присаживаюсь на корточки. Замёрзшие пряди волос на голове оттаивают. Дым щиплет глаза. Я довольно жмурюсь.

Вдоль горизонта растянулась длинная полоса зари, предвещающая перемену погоды.

Савка залил огнище. Обугленные чёрные рёбра бота ворчливо зашипели.

Когда причалили к Мягострову, солнце спряталось глубоко за горизонт.

— Темнень-то кака!

На ощупь добрались до избышки. Зажгли керосиновую лампу.

— Поперьво скинывай скорее мокру рубаху.

Я переоделся. Шерстяной, ручной вязки свитер с глухим воротом приятно покалывал. Достали самогон. Разлили по кружкам. Нарезали ломтиками сало. Выпили. Кровь пошла по кругу, согревая. Заранее припасённая лучина и «берёсто» быстро занялись. Спустя минуту поленья облизывал алыми языками огонь. Дрова «заплели». В трубе довольно загудело.

Сергей стал готовить на ужин вырезку. Я никогда не ел прежде сырого мяса и оттого лишь с подозрением наблюдал.

Он, между тем, нарезал лосятину мелкими кусками. Сложил в миску. Сжав в кулаке, выдавил до капли лимон. Нашинковал крупную луковицу. Щедро посыпал душистым чёрным перцем и каменной, грубого помола, солью.

— Ты, ужа, излиху-то не сыпь, — предупредил Савка.

Не отвлекаясь, Сергей принялся разминать пальцами густо-красные кубики лосятины, жамкать, тормошить их. Мясо приобрело бурый оттенок.

Яство выдержали на холоде. Дали дойти соком.
Самогон потихоньку делал своё дело, и я уже с интересом поглядывал на эту «сыромятину». В желудке требовательно посасывало.
Сели вечерять.
Старинная охотничья изба.
Снаружи — шум ветра, приглушённый плеск волн, стынь, а внутри — тепло...
О чём-то потрескивают поленья в печи. Флегматичным лепестком повис огонёк на фитиле. По кружкам разлита оловина. Сырое звериное мясо на закуску. Неспешные разговоры. Палёшка, запечённая в золе. Горячий сладкий чай.
Всё это — награда за тяжёлый день.
— Ну, расскажи, как ты тогда? — поинтересовался Сергей.
— Чуть не умер...



— Ещё бы! Не зря на поморской иконе «Страшный Суд» ад изображён Студёным морем.

— Ты есюды спать повались, ближе к печи.

Ночью меня стало лихорадить. Я натянул всю свободную одежду и укрылся с головой. Нагрелся. Вспотел. Поднялась температура. Сильный жар смешал сон и явь.

Кровь.

Лезвие ножа.

Хриплый крик ворона, призывающего: «Кар-ра! Кар-ра! Кар-ра!»

Яркий свет.

Копыто лося, пробивающее мне грудь.

И острая боль...

Я открыл глаза. Пот крупными каплями стекал по лицу. Горячка усилилась. За окном серело. А казалось, не дождусь утра...

Савка вышел на улицу «выветрище» и, справив нужду, вернулся.

— Ветру выпало много. Нельзя идти. Ждать надо.

Три дня бушует Белое море. Никак погода не может уюмониться. Валы морского прибоя, напоминающие непрерывно закручивающуюся спираль, набегают один за другим. Страшный шторм упал. Три дня я слышу его рёв, смотрю в окно и вижу одно и то же: свинцовое небо, белые гребни волн до самого горизонта и пустынный берег. В небе висит бусовая серая мгла с мелким затяжным дождём.

Мне становилось всё хуже.

Надо возвращаться домой. Хоть как...

Наконец шторм, вроде, стал утихать.

Мы уложили ружья, вещи и рубленую тушу в лодку. Поверх всего — лосиную голову с рогами. Можно отправляться. Быстро отчалили, а ветер поднялся с новой силой.

Карбас ставит дыбом, чуть ли не на корму. Нас маслает всюю.

Десяти минут не прошло, а вся одежда уже сырая насквозь. Забившись в нос, я уцепился двумя руками за борта, чтобы только не выпасть, и тут почувствовал на себе чей-то пронзительный взор.

Лосиная голова... Жёсткий, мстительный взгляд.

Когда проходили узким местом, нас сильно кинуло на камень. Борт подломился.

Всё-таки лягнул!

Сергей и до этого не успевал вычерпывать воду, а теперь дела и вовсе пошли плохо.

— Втора, — сумрачно произнёс Савка.

— Беда...

Волны, точно отцепившись, лютовали.

Я с тихим ужасом наблюдал, как поднимается по сапогам студёный рассол и, словно язычник, заклинал Белое Море помиловать нас...

И тут, в радуге брызг, я увидел Савву.

Он стоит за штурвалом, всматриваясь в солёную промозглую морось.

Сильный. Надёжный. Невозмутимый.

Настоящий Капитан!

Высокая волна, ударившись с ходу в дюжую грудь, как в гранитный утёс, осыпается пылём.

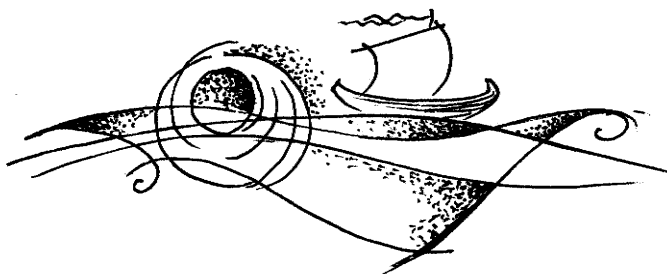
Нет в его глазах страха.

Он уважает Море, но оно само на посылках.

Жизнь или студёный ад — определяет Высшая Сила.

И сейчас общая мера содеянного ими добра и зла — на весах...

Карелия, п. Колежма, 2007 г.



Словарь поморских терминов

морехощи — мореходы;

вода суха — куйпога — самый низкий уровень воды при отливе;

гледень — возвышенное место для наблюдения за окружающей местностью;

баенка — баня;

карбас — поморская лодка;

матёра вода стоит — самый высокий уровень воды;

порато — сильно;

каля — лысина;

лёшшище — (о водной поверхности) сверкать на солнце, рябить;

кануть — протекать;

опружище — перевернуться в лодке;

плица — ковш, черпак для вычерпывания воды из лодки;

сланец — утренник, заморозок;

вода кротка — тихая, без волнения и ряби поверхность воды;

гальнуть — лягнуть;

волохница — речка или ручей, текущие по болоту;

баракать — болтать вздор;

бардать — понимать;

оловина — самогон;

палёшка — печеная в золе картошка;

тоня — рыболовный участок для ловли ставным неводом или другими снастями;

избушка при этом участке; улов за один просмотр сети;

маслает — сильно бросает на волне из стороны в сторону.



Вальс под гитару

...В сущности, любая человеческая душа представляет собою зыбкий омонёк, бредущий к неведомой божественной обители, которую она предвсущствует, ищет и не видит.

Андре Моруа

На открытой автобусной остановке нас было двое.

Редкие апрельские сумерки перебивал холодный свет уличного фонаря. Он выхватывал из серой дымки мальчишку лет четырнадцать на вид в чёрном слегка мешковатом пуховике на вырост да в шерстяной вязаной шапочке по самые глаза. В руках у него была гитара.

Маршрутный автобус подкатил к стоянке. Мальчишка купил билет, небрежно засунул его в боковой карман и поднялся в салон. Я следом. Свободных мест было много, но отчего-то я сел ближе к нему.

— Чего это гитара без струн? — не утерпел я.

Он ответил не сразу. Сначала уложил своё затихшее «музыкальное орудие» на колени, стащил с головы шапочку, освободив белокурые неприбранные вихры, и только потом обстоятельно поведал:

— Ездил в город, думал можно починить. В этом году я музыкальную школу по классу баяна заканчиваю, но хочу ещё и на гитаре научиться. Чужую брал на неделю, вроде получалось. Это отцова гитара. Он погиб, когда я ещё совсем маленький был. На новую мать денег не даёт. Ворчит: «Расти и зарабатывай сам. Я не успеваю за всем одна».

Он задумчиво провёл пальцами по грифу, разделённому порожками на лады, и повернул голову в сторону запотевшего окна.

- Выходит, ты настоящий музыкант, раз уже специальную школу заканчиваешь?
- Настоящий-ненастоящий, а в концертах участвую.
- Когда талант есть — дивьё! У тебя, по всему чувствуется — есть.

Похвала не показалась ему наигранной. Он заметно оттаял. Грустно и притом благодарно улыбнулся. Сел ко мне вполоборота. Взгляд его лучился добротой.

- А ведь свою «музыкалку» я один раз чуть не бросил...
- Что так?

— Думаю, у всех бывают чёрные полосы. У меня тогда, в конце школьного года, было всё неважно. Выходило много двоек за четверть. Я плохо... очень плохо учился. Не понимал. Принимался зубрить. Не прилипало. То же самое по баяну: ну, орёт на меня училка — хоть ты что... Дома мать исходит на крик — и за двойки, и за баян.

Я даже ножик брал, приставлял к руке, но потом думаю...

Встал однажды рано. Первый урок — русский. Домашку не сделал. Блин! Мне двойка выходит. Опять на меня наорут все. Ой... По остальным предметам тоже. Ну, может, там по рисованию «хорошо», наверное. Ещё и на баян идти. Господи! Вернусь усталый — уроки делать. Когда же этот день кончится? А он ещё и не начался...

Сижу раздетый, в темноте, кровать разложена, постель тёплая; потрогаю деревянную спинку кровати, этот лак на фанере, эту родную щербинку. И когда ненавистный день пройдёт, коснусь снова. Впереди уже будет только желанная ночь. (Он говорил это, забыв обо мне. Я мысленно вторил ему.)

Пусть между прикосновениями быстро пролетит день.

Чтобы не видеть ничего.

Чтобы не слышать никого.

Чтобы скорее окутал сон — мой рай.

Чтобы, как свободный будто бы.

За этим прикосновением темнота... Хорошо. Это — точно награда. Но день не даёт дотянуться, отделяет начало от конца. Зачем промежутки между ними?

Чем такой «свет» — лучше всегда «тьма».

Каждое моё утро теперь начиналось одинаково...

Никому раньше я об этом не рассказывал. Не знаю, почему с вами разговорился?

В музыкальной школе я тогда учился третий год. Елена Степановна, учительница по баяну, постоянно придиралась, как ни приду. Мне казалось, что она так орёт и цепляется только ко мне.

Стол у неё деревянный, чем-то гремучим набит. Когда я играю, она задаёт

постукиванием руки по столу верный ритм, но при этом от злости ударяет по нему так, что в столе всё подпрыгивает и громыкает. Я играю в другом темпе, она стучит изо всех сил, вроде бы подсказывает, хочет помочь, только я всё равно сбиваюсь.

Домой каждый раз тащусь в слезах. Приду. Дома никого. Мать ещё на работе. Сяду один в темноте и плачу.

Один раз пришёл из школы... Мы как раз новое произведение разучивали. У меня ни в какую не получалось. Притопал и реву себе. Не могу успокоиться. Сам думаю: «И зачем это надо? Эти “сольфеджио”, “интервалы”, “гаммы”, “мажоры”, “миноры” — всё. Зачем? Мне ещё два года учиться, и ещё целых два года она на меня будет так орать».

Я вырвал чистый листочек из тетрадки по алгебре и сам, никто меня не учил, начал писать, что хочу уйти и прошу вычеркнуть меня из третьего класса музыкальной школы. Ни от лица мамы, ни от кого-то ещё, от себя. Поставил месяц, число, год, расписался. И сразу, как только решение принял, успокоился. Подумал: «Ну, всё!» Решил, что пока заявление отдавать не буду. Схожу ещё один разок на баян, и если только она на меня заорёт, вот тогда я листок и достану.

Письмо будет вроде отмычки от неё. Буду свободен. Буду спокойно ходить себе по улице, как все. Пацаны вон смеются: «Да на фиг тебе этот баян? Такую гробину таскать! Играть на нём? Давай лучше в карты сыграем». Для них баян, что гармошка, на которой только старые дедушки до войны играли.

Урок у меня на следующий день. На улице снегу по колено. Мало что растаяло. Я иду вечером по тропке. По бокам тянутся вверх берёзы и тополя. Никогда раньше не считал, сколько их. Не до того было. Вечно перед музыкальными уроками дрожал, нос в землю. А тут загадал: вот подниму сейчас голову, сколько берёз увижу перед собой, такую и отметку на уроке получу.

Я поднял голову и мне бросилась в глаза не одна, не две, а сразу четыре берёзы. «Ага, — думаю, — хорошо!» Не то, чтобы я был уверен в такой оценке, просто стал сильно желать её.

Прихожу на урок. Здравуюсь. Беру инструмент. Пододвигаю ногой стул. Сажусь.

Она всё не орёт и не орёт...

Достаю нотную тетрадь. Открываю нужную страницу. Этюд без названия. Одни сплошные шестнадцатые ноты.

Пробую исполнять. Не дрожу. Спокойно на клавиши нажимаю. Плавно, не рывками, растягиваю меха. И музыка полилась совсем другая. Я сперва-то просто, ради того, чтобы размяться, попробовал. Идёт. Потом, уже не останавливаясь, прямо от начала до конца повёл.

Мне представился бег муравья: «Ты-ды-ды-ды-ды! Ты-ды-ды-ды-ды. Ты-дыд-тын-ты». Он сюда забежал: «Ты-дыды-дын! Тырылим-тым-тым!» Опять бежит, бежит, бежит. Взял соломинку, повернулся и назад в муравейник. Мои пальцы — будто его лапки. Они с такой же скоростью бегают, как у него. Если он быстрее бежит, и ты быстрее пальцами перебираешь: «Ты-ды-ды-ды-ды». Это не таранул какой-то, который еле ползёт: «Тууу-туууу».

Елена Степановна глядит на меня молча, только головой одобрительно кивает. Прямо волшебство какое-то... «Молодец!» — похвалила.

Красивую четвёрку в дневник и в музыкальный журнал поставила! Видно, училка сама-то по себе ничего...

Вышел из клуба. Не могу поверить. Стою на крыльце. Дышится легко. Гляжу по сторонам. Такой обалдевший. Думаю: что если бы я увидел не четыре берёзы, а две? Мне бы опять двойку вкатили?

У меня теперь с баяном всё хорошо. Хочу теперь на гитаре научиться, как папка. Мама его за гитару и полюбила. Он лучше всех играл. Душа компании.

Иногда подумую: «Каким бы я дураком был, если бы письмо сдал тогда». Берёзки мне помогли. Я их уже не раз мысленно целовал.

Я хочу выбрать музыку себе и дальше по жизни.

Ну, например, поступит сейчас кто-нибудь учиться на агронома, инженера или военного. Кому они нужны?! А музыка — она везде. Машина гудит — музыка. Мы с вами говорим — музыка. Да вот, — он два раза озорно притопнул ногой, — и это музыка.

— Уж прямо и музыка?!

— Да — музыка.

Перед первым моим выступлением на концерте Елена Степановна наставляла: «Будет в зале кто-то из близких, мама или кто-нибудь ещё, ты не смотри на них, не маши им, не улыбайся. Иначе собьёшься. Ты смотри вверх в одну точку. Играй для этой точки. Скажи: “Смотри, точка, как я играю”. Разговаривай с ней. Пускай даже будут светить всякими фонариками в глаза, пулять в тебя. Если спутаешься, всё равно доигрывай».

Выхожу на сцену. Боюсь. Сел на стул и с ходу заиграл. Колени дрожат... Сжал их сильно-сильно, как мог, всё равно трясутся. Нажимаю на клавиши — слышно: «Ды-ды-ды». Всем слышно. Дрожь с музыкой. Взгляд бежит по залу. Народу-то... Пацаны наши. Они же обсмеять меня могут. А я один, такой маленький. Играю, играю. Хоп! Ошибся. Сам уже хочу заплакать и убежать за кулисы.

И тут я вспомнил про слова учительницы, поднял голову и посмотрел поверх всех. Но только я уставился не в точку. Я вдруг увидел вдали папу. Он смотрел прямо на меня. Я стал играть для него... Лица всех людей сделались расплывчатыми, незаметными. Всё вокруг исчезло. Только я и он.

Чувствую, перестал дрожать. Играю по-настоящему. Не просто бездумно нажимаю на клавиши и тяну меха. Уже думаю о том, как у меня пальцы расположены. Громче, тише играю. Когда форте, когда пиано — слезу.

Исполнял я вальс «На сопках Маньчжурии». Вы слышали его?

— Хороший вальс.

— Сначала идёт тихая музыка. Играю для папы, а сам представляю: он словно уже не лейтенант, как на строгой фотографии в документах. Он генерал. Седой весь. Он сидит и слышит, что я начал играть. Музыка пошла. Я играю её тихо, потому что в главной роли музыки — он. Встаёт, ищет себе пару. Нашёл! Выбирает мою маму. Значит, нужно с этого места громче играть. Это — радость евонная. Одна часть: «Тын-тын-тын. Туу-туд-туду-та-датататам-тада». Они танцуют счастливые, улыбаются. Музыка громче: «Туу-тут-туду!» Вот они посмотрели друг другу в глаза — пауза такая. На миг всё остановилось, затем опять начинают кружиться, и ты крещендо, с усилением звука, начинаешь играть.

Я полгода разучивал пьесу, и теперь то, над чем трудился, сжалось до двух минут выступления. Не каждый так сможет. А я научился.

Мне кажется, папе понравилось.

Это приятно и даже немного волнительно.

Я доиграл, низко опустил голову и заплакал от счастья. Убежал со сцены. Не мог никого видеть в этот момент. Зал долго хлопал вслед. Потом говорили, что получилось здорово.

Однажды я взял гитару у приятеля. Мама заглянула, смотрит — подбираю аккорды. Говорит: «Знакомое что-то. Вроде, папа играл».

Она ушла. Я отложил чужую гитару и взял папину. Поглаживаю её, трогаю. Когда-то до неё дотрагивался мой папа. И ещё мысль: у него, когда не брился, щетина росла, он тёрся об мою щеку, щека делалась красной. Мне становилось весело, приятно, счастливо даже. Это помню. И вот теперь я касаюсь гитары, которая помнит его прикосновения. Мне так захотелось исполнить вальс «На сопках Маньчжурии» для папы, но уже под гитару. Чтобы он порадовался и за меня, и за маму. Если бы он был с нами, то сам бы для мамы играл.

В городе просил отремонтировать её — не взяли. «Нет, — ответили, — слишком старая. Гриф треснул, так что новые струны не помогут. Чудес не бывает!»

Мальчишка замолчал, и я молчал. До самой остановки.

Самое главное было сказано.

Перед тем, как выходить, он крепко, по-мужски, пожал мне руку и сказал на прощанье:

— Завтра у нас в клубе праздничный концерт. Я тоже выступаю. Приезжайте.

Парнишка вышел на ледяную обочину и, прижав к груди заветную гитару, зашагал в темноту. Даже имени его я не узнал.

Дверь захлопнулась. Автобус двинулся дальше.

Концерт в клубе закончился. Выступление на баяне отметили все. Он играл сегодня как-то особенно хорошо. Зрители потихоньку расходились, и только музыка незримыми волнами ещё широко плыла по свободному залу.

Пошёл одеваться и мальчишка. И тут вахтёр, пожилая знакомая женщина, вынесла из боковой комнаточки упакованную в полиэтилен новую акустическую гитару:

— Это тебе просили передать. Кто — не знаю.

Ошиблись мастера. Чудеса случаются!

Был день Светлого Христова Воскресения.

г.Петрозаводск, 8 апреля, 2007 года



СПЛЕТЕНИЕ ДУШ

Светлая память моей бабушке,
великомученице,
Яковлевой Александре Михайловне.

Кто знает, может, в том, чтобы бережно донести
до людей в своих ладонях её слезы, — и есть
моё земное предназначение...



Пролог

Прошло много лет, как не стало родителей. А дом в деревне так и стоит заброшенный. Сутулясь, смотрю на него издали, внутрь зайти боюсь.

Жутко заходить в мёртвый родительский дом...

Он весь какой-то сгорбленный. Почернел от дождей, как человек от горя и слёз. Не выдержав, отвожу глаза от пристального, укоризненного взгляда окон. Нервно закуриваю. Первый раз за всю жизнь в душе так ломко.

Подхожу ближе.

По пояс в крапиве и матёром репейнике пробираюсь к крыльцу. Разрываю спутанные стебли трав. Дверь подалась не сразу.

Зашёл в горницу.

Русская печь, большой обеденный стол, длинная основательная скамья — всё на своих местах, словно и не уезжал никуда. Только какое-то неприветливое, сумрачное, холоднее.

Сейчас о многом хотелось бы поговорить с отцом и мамой, но время упущено. После смерти родителей остались какие-то рукописи. Я трепетно извлёк на свет эти немые послания.

И вдруг озарило...

Они вернут жизнь родительскому слову!

Сверху лежала рукопись отца «По собственному следу».

Пройду этот путь вместе с ним.



По собственному следу

Конец февраля.

С утра по глубоким сугробам сыпуче заскользила лёгкая позёмка, и к вечеру разыгралась настоящая метель. Вокруг одиноких уличных фонарей в пучке света, как потревоженные пчёлы, кипят снежные хлопья. По телу ломота. Протоплю-ка я сегодня баньку, по-чёрному (с веничком-то, а?!).

Вспомнилось далёкое детство военной поры...

У кого бани не было, мылись от беды в русской печке. Истопят печь, уберут чугушки, подметут под — и заползают. У нашего деда Ивана была. Маленькая, с соломенной крышей набекрень, с тусклым оконцем, а всё же настоящая русская баня. Летом её топили почаще — проще. Зимой — реже.

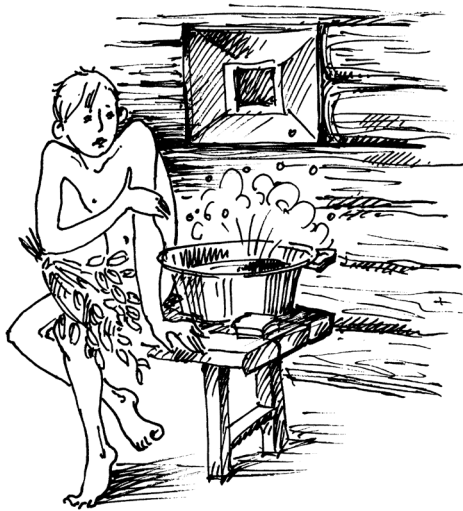
Неказистая эта банька запомнилась мне на всю жизнь.

Однажды зимним вечером, как и сейчас в метель, мать пригласила в баню продавщицу деревенского магазинчика, яркую блондинку с длинными льняными волосами и ладной фигурой.

Мне шёл двенадцатый год — это не смущало девушку, а мать тем более. Моюсь себе спокойно, обстоятельно. Женщины азартно парятся. Охают! Ахают! Блондинка с полка-«кутника» соскользнула своим выразительным мыльным задом, чуть не упав на пол.

И вдруг я начинаю испытывать непонятное волнение. У меня появляется навязчивое желание наблюдать за каждым движением обнажённой незнакомки. За тем, как она намыливает себе шею. Задиристую грудь. Как мыльная пена стекает по спине.

Но я сдерживаю себя, да ещё и принимаю равнодушный вид.



Мой отец-то, оказывается, кремень — не человек!

Голову мне мыла мать. А я не чувствовал, щиплет ли мыло глаза, горяча ли вода. Без обычных капризов. Мысли бестолково роились в голове, оглушая меня своими идейками...

Я пытаюсь разобраться в себе и запутываюсь ещё сильнее.

Да, жизнь прожита яркая.

Родом я из Варнавинского уезда Нижегородской губернии. Из маленькой деревни Анисимово, что стоит в верховье красивейшей реки Ветлуги.

С крутого холмистого утёса, или, как принято у нас называть это место, с угора, открывается бескрайняя панорама: спокойна глубоководная Ветлуга с её берегами, поросшими вековыми соснами и елями, старыми вётлами, кустами шиповника и чёрной смородины, с чистыми песчаными отмелями, глубокими омутами, хранящими топки морёного дуба и пудовых сомов. В пойменных заливных лугах сочный ковёр разнотравья; множество больших и маленьких озёр, заросших осокой и кувшинками; лесных речек с чистой водой и обилием разной рыбы, запасы которой каждый год пополняются весенним паводком.

Река эта — один из самых больших притоков Волги. И берега её тоже напоминают волжские: правый — горный, левый — луговой. Обрывистый берег местами разрезан глубокими ложбинами, выходящими на равнину.

Вот между двух таких оврагов, на крутом берегу Ветлуги, и приютилась наша деревня Анисимово. Именно здесь, в родной деревне отца, обосновались после венчания мои родители. Дед Павел, который во всём любил основательность, помог поднять им капитальный дом.

Вот в нём девятнадцатого апреля одна тысяча тридцать шестого года родился я — Костюнин Виктор Алексеевич.

В колхоз отец записываться не стал. Слишком самостоятельный. Округа, как и всюду по стране, держалась на ораторах. Мой же отец деловит, но не словоохотлив — «не баюн», как подметила мать. Он выстроил рядом с домом свою кузницу, в надежде на взаимовыгодное сотрудничество с колхозом. «Лавочку» приказали «немедля прикрыть!».

Остатки кузницы долго ещё стояли на краю деревни, в назидание всем остальным, пока не сгнили окончательно.

А, нечего...

Отцу не пришлось раздумывать, куда дальше (теперь за всех думали наготово). По линии военкомата его направили в Горький на курсы шофёров. На район, в леспромхоз, выделяют шесть новых лесовозов — нужны водители.

Он часто в длительных рейсах. Из отдалённых лесопунктов привозит гостинцы. В ОРСе их большой выбор: от колбасы до советского шампанского. С тех пор у меня в памяти осталось (память знает, что хранить): под детской кроваткой целый ящик конфет в полной моей власти.

Разговоров о колхозе родители избегают: там, сколько ни заработай, — всё отберут, а здесь САМИ платят.

Стыдно признаться: мой отец оказался политически близоруким. Всю жизнь сбивала его с верного пути врождённая хозяйская жилка.

Сгубила она и деда Павла. Дед, видишь ли, не соглашался отдавать свою скотину в колхоз. Его, конечно, взяли и расстреляли.

— Лишь бы не было войны, — отрешённо причитала моя мать.

Но её молитвы не помогли.

Двадцать второе июня сорок первого года.

Жизнь не перестраивалась — беспощадно ломалась.

Всеобщая мобилизация!

Лесовоз отца срочно переоборудуют под перевозку новобранцев со всей округи до ближайшей железнодорожной станции. На машину ставят новый кузов, покрашенный



зелёной краской, оборудуют скамейками. Борты оклеивают красочными плакатами армейского содержания. Машина и плакаты мне нравятся. Это уже не грязный лесовоз.

До станции сорок километров. Отец делает в сутки два рейса. Кроме его машины на маршруте ещё две. Домой приезжает поздно. С молчаливым вопросом смотрит на мать: нет ли повестки? — «Пока нет».

Но за этой маленькой бумажкой дело не станет. Через две недели принесли и её: «...явиться, при себе иметь...».

Советским Союзом руководили бессребреники.

Доброе слово, тёплая постель и... безграничная власть — вот, собственно и всё, чего они добивались. Как по карте переставляя игрушечных солдатиков, власть отправляла войска на захват то одной, то другой соседней страны.

А враг, по тайному сговору с которым Сталин делил земной шар, оказался вероломным.

Страна целую неделю ждала воззвания Верховного к народу! По этому поводу тётка Шура Антонова, старшая мамина сестра, даже сложила частушку:

Атаману на-ше-му,
Вот так и по-па-ло-то.
Ну и мать его эти,
Не раскрывай хлеба-ло-то!

Припевка неизменно исполнялась с лихим, радостным задором, будто воспевала долгожданную победу. Жила тётя Шура в районном центре — селе Варнавино. Её муж, дядя Саша, получил повестку одновременно с отцом, и теперь она оставалась одна с тремя детьми, мал мала меньше, на руках.

Этим вечером родители, приглушив свет лампы, пораньше уложили меня спать. Засыпая, я видел, как они сидели, нежно обнявшись.

Утром собирались второпях.

Едем к военкомату. Там перемешались призывники и провожающие. Где плач и причитания, где гармошка и плясовая. Отец передаёт машину своему напарнику Николаю Карпову — у того ещё нет повестки, но через неделю уйдёт и он. Мы стоим отдельной группой у деревянного забора, ждём команды. Отец рассеянно суёт мне в руки какую-то сладость и, не отрываясь, молча смотрит на мать. Основное, видно, за ночь переговорили.

Мне пять лет. Я мало понимаю происходящее, однако надрывный плач взрослых тяжело давит. Дали команду: «По машинам!»

Вой усилился. На прощание последние, главные слова.

Призывники, с трудом освобождаясь от цепких рук жён и матерей, запрыгивают в кузов. Колонна тронулась. Мама ухватилась за задний борт и висела на нём до тех пор, пока машина не вырвалась из рук. Сила, разлучающая их, одолела.

Я стоял, внутренне сжавшись. Нижняя губа оттопырилась и слегка начала подрагивать. Всю дорогу до дома мать, сдавив пальцы, вела меня за руку. Так удерживают воздушный шарик, боясь упустить его в небо навсегда.

Вернулись в опустевший дом. В комнате жутковатая тишина, и по ней чёрной угловатой трещиной стон матери... Из открытого ящика комода торчит скомканное нижнее бельё. На боку лежит упавший стул. На вешалке — одинокий свадебный костюм отца из дорогого бостона.

Как пустая мёртвая оболочка.

И началась новая жизнь военной поры. Общая для всех, но у каждого своя.

Писем от отца одно-два, ещё не с фронта. Где-то шоферит, что-то возит. Потом письма обходят нас стороной. Как тифозных. Среди нередких похоронок нашей — нет.

Зимние сумерки накрывают быстро. Улица становится пустой и неуютной, хочется быстрее домой: к теплу, к свету, к матери. Помню, как после ужина мы забрались с керосиновой лампой на русскую печку, и мать раскрыла старый охотничий журнал. Показывает пальцем рисунок на обложке: лесная дорога, силуэты двух охотников. И говорит, что это отец с дядей Сашей. Мне сомнения ни к чему, и я надолго застываю с журналом в руках.

В один из таких вечеров кто-то постучал в дверь. Мать пошла открывать и вернулась со своим отцом, дедом Иваном, в руках у которого был





объёмистый свёрток. Я слез с печки и с любопытством наблюдал, как дед его разворачивает.

Лыжи! Настоящие! Необыкновенной красоты.

Дед заказал их специально для меня в столярной мастерской, где выполняли заказы для фронта. Лыжи были из лучшего материала — без сучков, гибкие, с круто загнутыми носами, приятно пахнущие берёзовой древесиной и спиртовым лаком.

Я переводил глаза с подарка на деда и, кажется, в этот

moment впервые увидел его. Ему было за пятьдесят. Выше среднего роста, сухощавый, с остатками жидковатых русых волос, с густыми усами и курчавой бородой. Выразительность лица подчёркивали пронизательные глаза.

Он был немного навеселе. А когда мать, собирая ужин, достала «одёнок», оставшийся от проводов отца, лицо деда и вовсе приобрело благостное выражение. Он не спеша вытащил кисет, оторвал от сложенной газеты «косынку», свернул аккуратную козью ножку и закурил. Комната наполнилась забытым ароматом самосада. Стало как-то уютней.

За ужином решили: не дожидаясь лета, перебраться к старикам в Лубяны.

— Ну, Орина, — обращаясь к матери, сказал дед, — пойду, — и, тяжело опираясь рукой на стол, поднялся.

Мать, накинув на плечи платок, пошла до калитки проводить.

Слышу с улицы:

— Тять, милой, ты ровно не в ту сторону пошёл! Али дом-то там?..

В ответ досадливый голос деда. Высоким ладным каскадом ниспадает мат. На крыльце шаги. Возвращаются. Дед заходит первым, в явном замешательстве, как бы оправдываясь передо мной, произносит:

— Витюх, нали голову обвело кругом...

На следующий день дед ушёл, а мы стали готовиться к переезду. Взяли самое необходимое: обувь, одежду. Дом закрыли. Сами налегке, как погорельцы, отправились в Лубяны. До них около десяти километров. На большой дороге нас догнал и предложил подвезти, «сколь по пути будет», почтальон-возница.

Ехать, едва покачиваясь в широких розвальнях по укатанной зимней трассе, — одно удовольствие. Как сейчас вижу эту дорогу с клочками сена под полозьями, запахом конского навоза и хозяйственного двора. Путь не показался длинным. На всём протяжении стоят деревни, одна от другой в пределах видимости: Михаленино, Заболотье, Опалихи. Небольшие, притихшие, занесённые снегом.

Вот показалась и наша. Дедовский дом в центре деревни.

Через просторные сени заходим в зимнюю избу. Оглядываюсь. Слева от входной двери — большая русская печь. Под потолком полати. В красном углу икона Николы Чудотворца в резной божнице. Широкая металлическая кровать уже поставлена для нас. Бабушка испекла пирог, дед нарезал в тарелку сотового мёда. На столе появились мясные щи из серой капусты, тушёная картошка в глиняном горшке, ржаной хлеб.

Бабушку Дарью я раньше не видел и теперь рассматривал с интересом — мне с ней жить. Среднего роста, полноватая, с крупными чертами лица, в платке, из-под которого выбивались гладкие тёмные волосы. Открытая, улыбчивая. Тихий воркующий голосок. Я находил, к собственному удовольствию, что она мне нравится.

В первую же ночь я забрался к деду с бабой на полати. После дальней дороги и щедрых угощений веки слипались.

Спа-а-ать.

Хороши полати, но всю зиму на них не пролежишь — развлечения нужны. Поиски их вывели меня на дедовских лыжах в снежные поля, от окружения которых некуда было деться. Иду не спеша, глаза невольно ищут на снежной целине какие-то отметины.



Вдруг натыкаюсь на след с ярко выраженным симметричным рисунком: две ямки спереди — рядом, две позади — друг за дружкой.

Заяц! След казался таким свежим, что мне невольно хотелось его понюхать. Лыжи сами выбрали маршрут.

Оказывается, по следам можно многое прочесть про жизнь зверька. Вот здесь он сидел, скусывая заснеженную былинку; здесь возвращался точь-в-точь своим следом назад, ровно что-то потерял; вот игриво пустился в наём; тут успокоился и перешёл на прогулочный ход. Не сразу замечаю, что след увёл меня далеко от деревни. Сумерки сгущались. Надо поворачивать назад.

Этим вечером дома я был непривычно тих. Лёг спать, а перед глазами так и мелькали отметины заячьих следов.

Жизнь военной поры не отличалась великим разнообразием: к нам — никто, и мы — никуда. Разве что иногда тишину деревни нарушит шум проезжающей машины. Однажды вечером грузовик, у которого вместо задних колёс были гусеницы, остановился прямо у нашего дома: двое военных попросились на ночлег. За ужином взрослые обсуждали фронтовые новости.

А меня больше интересовало иное.

Я не сводил глаз с военной амуниции: полевых сумок, петлиц, звёздочек. Втягивал носом запах скрипящей кожи ремней. Конечно, всё было интересно, но кобура с наганом подействовала просто магически.

Стали укладываться спать. Военным постелили на полу. Я цепко слежу за пистолетом. Заметил, что его, как и полагается, положили в изголовье. Все уснули. Тишина в доме. Слышно только посапывание.

Наваждение какое-то... Я опомнился, когда крадучись, в темноте, подходил к спящим бойцам. Рука сама потянулась вперёд, непослушно, как чужая. Нащупал пальцами ремень портупеи, попробовал тащить.

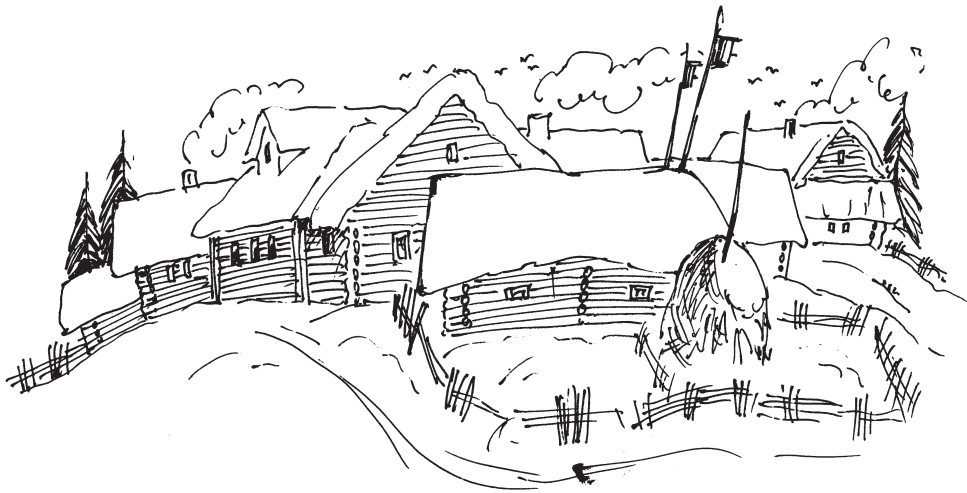
Подалось.

И то ли спугнуло беспокойство спящего, то ли не выдержали нервы, но от затеи вытащить пистолет я отказался. Вернулся в тёплую постель к матери и потом ещё долго не мог заснуть.

Утром военные в благодарность за радушный приём оставили мне на память командирскую сумку и армейскую звёздочку на шапку.

Нужна мне их звёздочка! Что я, маленький?!

Вот так мы и жили в малой деревушке, судьбой отгороженной от общей большой беды.



Из редких, долго блуждающих треугольников полевой почты мы узнавали о положении дел на фронте. Новости поровну делились на всех жителей деревни, без утайки. При виде почтальона каждый раз возникало двойное чувство: и ждём весточки, и боишься. Что именно вручит он на этот раз?

Как ни длинна нудная зима, весне быть. Для деревенской детворы эта пора в Лубянах скучная. Пока тает снег, мы, как привязанные, сидим дома, нетерпеливо сучим ногами. Всюду зажоры — скрытая под снегом вода — ловушки. Ждём, когда можно будет не зависеть от обуви. Это раньше Пасхи не бывает. Вот уж когда начинается босоное раздолье. Какая бы погода ни была в этот день, мы пробуем ногами землю: сперва на припёках и не все, потом помаленьку и остальные подключаются.

От отца третий месяц нет вестей.

Дождавшись, когда полностью сойдёт снег, мать с соседкой отправилась на пароходе за сто километров в город Ветлугу, молиться. Там православный храм нечаянно не разрушили.



Дед Иван, не в пример отцовской родне, был уважен властью.

В начале деревни стояло приземистое рубленое здание с маленькими, редкими окошками, под тёсовой крышей. Там отжимали льняное масло.

Маслобойка — место тёплое. Со всего района сюда везли льняное семя на переработку. Люди ехали, как на праздник. Счастливики. Целый день можно пробовать маслянистый, жареный пух, отламывать кусочки тёплого жмыха, макать хлеб в ароматное, янтарное масло, которого многие не видели с начала войны, до головокружения вдыхать его забытый аппетитный запах. И, наконец, финал — жареная картошка. Досыта!

И главенствовал в этом заповедном месте дед Иван. Кому ещё командовать? Он не буржуй какой-нибудь. Свой. Помогала ему моложавая статная женщина, из эвакуированных, на которую дед время от времени бросал выразительные маслянистые взгляды. Ответственная должность деда позволяла нашей семье в голодную военную пору ни в чём не знать нужды.

Я недоумевал, зачем ещё мать тянет меня осенью на поле вместе со всеми собирать колоски, которые потом украдкой выбрасывала? От домашней пшеничной сдобы уже и так воротило.

Мне любопытно было, в охотку, вместе с другими мальчишками уплетать их чёрные, горькие лепёшки из картофеля, жмыха, лебеды и «колокольца» — шелухи льняного семени.

После революции бедных не стало меньше. Всеобщее равенство не наступило. Но теперь хорошо, зажиточно, на общую зависть, жил не тот, кто хорошо умножал и прибавлял, а тот, кого Советская власть уполномочила делить и отнимать...

Лето кончилось. А мне и не жаль. Осень желанней.

Кроме ясных прохладных дней в осени было много чего-то неопределённого, неосознанно волновавшего меня.

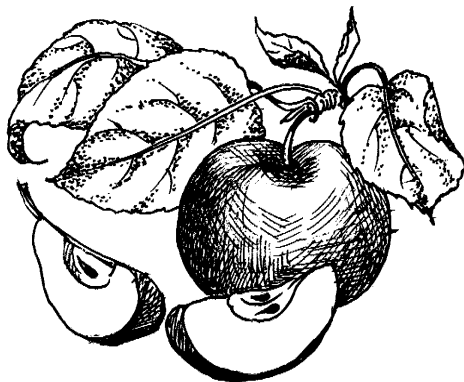
В открытые окна, выходящие в сад, тянутся ветвями яблони, предлагая отведать спелую антоновку. Выбираешь то яблоко, что крупнее, осторожно срываешь и смачно надкусываешь. Золотистый сок, намаившись в ожидании, выступает прозрачными каплями.

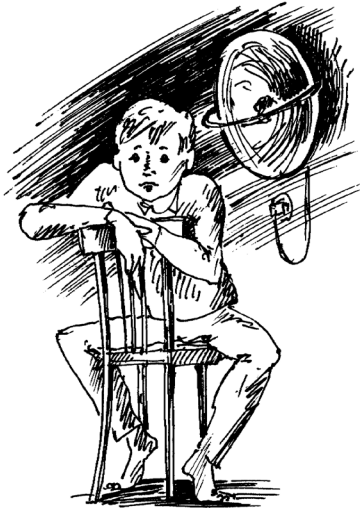
Ещё я любил это время за то, что оно совпадало с переходом из летней избы в зимнюю. (Будто очередную страницу в жизни перелистываешь.) Из мебели ничего не переносили: всё оставалось на своих местах. Захватим с собой необходимую посуду — вот и «переехали». Это окончательно подводило итог лету.

Вставлены в окна вторые, зимние, рамы, оживила русская печь, своим теплом изгоняя застойный, нежилой дух. Ей помогла своим бойким, весёлым огоньком маленькая печка. Изба дышала, наполняясь ароматом чисто надраенных голяком некрашенных полов, запахами поля, свежей капусты и моркови вперемешку с дедовским самосадом. Весело и дружно орудуют в выдолбленных корытцах тятки, измельчая ядрёную, хранящую ещё сок полей капусту. Я с удовольствием хрющу сочными капустными кочерыжками.

Начищенный до блеска, выставив напоказ медали, гудит самовар. Дед приехал с лесной пасеки с дарами. На столе к чаю подан мёд: продукт царский сам по себе, а в виде медовых сот — особенно. Жидким янтарём аппетитно слезится он по краю глубокой тарелки.

На таких ярких, щедрых, вкусных красках осень сдавала свои позиции суровой зиме. Сама уходила. Видно, чтобы не наскучить и всегда держать себя в особой цене.





Сводки с фронта обнадеживали всё больше, а председателю нашего колхоза, между тем, принесли похоронку. Из сыновей у него теперь остался только младший, Жорка, — мой лучший приятель. В боях за Москву погиб и единственный сын деда Ивана, родной мамин брат, Геннадий.

Война собирала свой «урожай».

Военные годы сменяли один другой. Наступил сорок пятый.

Праздник 9 Мая пришёл в деревню незаметно и буднично. Не собирали ни митинга, ни собрания, хотя весть добралась до деревни тут же. Я не заметил у людей бурного выражения

чувств по этому поводу. Не видел на глазах ни радостных, ни горестных слёз — вылаканы. В этот тёплый солнечный день все были на своих подворьях: готовили огороды под посадку. Узнав о Победе, передавали долгожданную новость по цепочке, от соседа к соседу. Работу не бросали, продолжая копать в земле.

Дед не снизошёл до обсуждения с домашними такого серьёзного события. Я видел его на нашем крыльце с председателем. Притихшие, они молча курили. Им было о чём помолчать.

Погибших сыновей не вернёшь.

Они собой загатили путь к Победе...

Люди с этого дня, выходя из дому, первым делом обращали внимание на дорогу: не идёт ли машина с солдатами-победителями. С надеждой всматривались и мы с мамой.

Однажды грузовик остановился недалеко от нашего дома. Мы, ребятня, подбежали к нему. В кузове около десятка солдат. Они оживлённо прощались с одним из попутчиков: сначала появились костыли, потом помогли выбраться и самому. Передали через борт солдатский вещмешок, и машина продолжила путь. На дороге остался солдат — пожилой, невысокого роста, с измученным лицом. На выгоревшей добела гимнастёрке не видно ни орденов, ни медалей, только облупленная звёздочка на старой помятой пилотке.

Солдат, тяжело повиснув на деревянных подпорках, неуверенно шагнул единственной ногой к родному дому. Путь в десять шагов, о котором он мечтал с первых дней войны, оказался горьким и трудным, крыльцо, знакомое с детства, высоким и неприветливым...

Его никто не встречал. Жена, трое сыновей и дочери только ещё бежали к деревне с поля. Он, натянуто улыбаясь, заговорил с нами, нетерпеливо поджидая своих. Это был Семён Хорин, наш сосед и дальний родственник, — первый из немногих возвратившихся после Победы в родную деревню.

А нас, ребятню, к тому времени интересовали не столько сами солдаты, сколько их трофеи из заморских стран. Мы кое с чем познакомились и были потрясены. Настоящий электрофонарь! Авторучка! Известно, что победители везли на родину товары в соответствии с рангом. Удача не обошла и дядю Семёна: под руки ему попала бухта бикфордова шнура с запалами. «Леший подал» — как убеждённо считали у нас в подобных случаях.

Об этом интересном трофее мы узнали от его дочки Клавки — бой-девчонки. Пока хозяин раздумывал, что с этой добычей делать, мы начали действовать. Изготовление взрывного устройства простое: берётся бикфордов шнур, отрезается полуметровый кусок, один его конец вставляется в патрон, другой поджигается. Всё. Бежим в укрытие, ждём. Запальный огонь скользит по шнуру медленно. Взрыв большого эффекта не производит, но прятаться заставляет. В первый вечер мы заложили мину на скотном дворе под котлы, где готовилось пойло. (Типа — партизаны!) Урона не нанесли, но скотниц перепугали. Уже не зря старались.

Клавка исправно выполняла роль тыловика и небольшими партиями поставляла в наш отряд шнур и запалы. Запалов было достаточно, а вот шнур, как бы экономно мы его ни использовали, всё-таки кончился раньше. Оставшиеся запалы «чесали» нам руки...

Вскоре выход был найден. Мы, трое военных испытателей — Жорка Лебедев, сын председателя, Клава и я, пошли на наш полигон, за конюшню. Запал завернули в газету, смяв её клубком. С трудом подожгли и — бегом прятаться. Лежим, не дышим. Взрыва нет. Тихонько поднимаемся. Видим, что газета не горит, только тлеет, осыпаясь пеплом по краям. С настороженным интересом подходим и присаживаемся на корточки рядом с тлеющим свёртком. Жорка опускается на колени, подносит лицо вплотную к газете и, набрав полные лёгкие воздуха, начинает усердно раздувать угольки.

Раздул!

Я и пламени не видел — рвануло.

Нас опрокинуло в бурьян. Молча, с тревогой осматриваем друг друга, прислушиваясь к своему телу. Мы двое целы, а у Жорки лицо закрыто руками. Из-под пальцев сочится кровь. Запал после взрыва превращается в рваный кусок металла (знали по испытаниям), вот он и угодил ему по губам, припечатав рот. «Малесенько не в глаз», — как непременно сказала бы моя мать.

После этого мы ничего больше не взрывали. Куда делись оставшиеся запалы — не помню. Неужели выкинули?!

Вот дураки, если выкинули...

Прошло первое послевоенное лето.

В ряду значительных событий — возвращение с войны дяди Саши Антонова. Живого и невредимого. Не попал он на зуб человеческой мясорубке. Видно, была у него своя звезда-спасительница. И вот сидит он за праздничным столом в Лубянах со своей счастливой семьёй. Для них чёрные дни закончились.

Мне исполнилось девять лет — завтра в школу. Без меня, видно, не обойдутся. Перебираю своё хозяйство: полевая командирская сумка, которой я очень гордился. Жаль только, класть в неё нечего, кроме перьевой ручки и чернильницы-«непроливайки». Букваря нет. Тетрадей тоже. Великолепный, со светящимся циферблатом компас отстёгивать не стал. Ещё снял с гвоздя пилотку с красной звёздочкой, в раздумье подержал и положил рядом с полевой сумкой. Вот и готов.

Начальная школа находилась в соседней деревеньке Заболотье, в километре от нашей. Одноэтажное бревенчатое здание. Окна большие и частые. Тропинка к ней вела через клеверное поле прямо от двора (только учись). К школьному крыльцу я подходил осторожно, точно к тлеющему в газетной бумаге запалу. И интересно, и боязно.

После суматохи и тычков мы расселись за парты. Я — на «камчатку». Сидим, как дикие зверьки в капкане, усваиваем истины. Пока отмечаю только: это нельзя, то нельзя, и ещё раз Нельзя. Это надо, то надо, и ещё раз Надо. Сознание вяло сопротивляется, безысходность берёт верх. Из школы домой я шёл понурый. Внушительная буква “А”, старательно выведенная учительницей куском мела на классной доске, не произвела должного впечатления и не нашла запланированного отклика в моём сердце.

Обычно после школы я до позднего вечера слонялся по деревне, пока ноги носили. Домой еле шёл. Однажды зимой на пути мне встретилась соседская девчонка. Задержалась и говорит:

— Иди быстрее, там твой отец письмо прислал.

— Дура! Нашла чем шутить, а?

Всю дорогу до дома я не мог себе простить, что не обложил её матом. Прямо хоть возвращайся и догоняй! Но, подходя к калитке, я почувствовал что-то необычное: вроде окна в доме светятся ярче, словно выкрутили фитиль.

Соседи гурьбой выходят.

Я потихоньку захожу в избу. В комнате полно народу. За столом, под лампой, сидит дед с письмом в руках. (Выходит, правильно не стал девчонку догонять — как чувствовал.) Дед возбуждён. Мать тихо плачет. Прижала меня украдкой к себе.

Письмо шло долго. Отец писал, что был ранен. Но главное — жив и скоро увидимся.

Мать даже помолодела.

Это было в середине марта сорок шестого года. Я пришёл из школы и занимался... (Да не уроками!) У красной звёздочки отвалился крепёжный усик, а мне не хотелось с ней расставаться. В поисках кусочка проволоки я забрался на чердак, где складывались необходимые ненужности. Спустился, вижу через дверной проём: напротив нашего дома остановилась машина. Надо использовать такой случай и прокатиться, повиснув на борту. Наблюдаю с крыльца за машиной. Ловлю момент зацепиться. Кто-то отходит от неё — думаю, наверное, шофёр за водой в радиатор. Нет. Смотрю, идёт к нашему крыльцу.

Ко мне идёт...

Служивый высокого роста, в шинели и фуражке, с чемоданом в руках. Подходит, здоровается, как с равным, за руку и садится рядом на ступеньки. Задаёт обычные в таком случае вопросы: как зовут, сколько лет, в каком классе учусь.

Вот дался я ему!

Не очень довольный, рассеянно отвечаю, сам не спускаю глаз с машины. Мне главное — не пропустить, как отъезжать начнёт.

— ...Витей звать... на фронте отец... (Чувствую: упусти!)

Так и есть — машина тронулась. Но не успел я толком огорчиться, как подошла соседка, тётка Анна Хорина, и, узнав военного, всплеснув руками, заплакала. Мать в этот день приболела и лежала на печке. Весь разговор она слушала через дверь, гадая, кто же это может быть.

— А мамка-то замуж не вышла? — спросил настырный незнакомец.

Мать после этих слов, разом выздоровев, махнула с печки на крыльцо и под причитания тётки Анны повисла на шее у военного... Только в этот

момент, оторопев, уставившись на солдата, я понял, что это и есть мой отец. Потянувшись за его рукой, я робко прижался щекой к колючей шинели.

— Папка...

За столом после схлынувших возбуждённых разговоров, оставшись с нами, отец поведал о своей военной судьбе. Рассказывал основное, без подробностей: их хватит теперь на всю жизнь.

Осенью сорок второго часть, в которой он служил, попала в окружение под Бобруйском. Его взяли в плен и отправили в Кёнигсберг, в лагерь. Для отца начался отсчёт новой жизни, где каждый день воспринимался как последний, а прожитый — как подарок судьбы. Когда в Пруссию вошли наши войска, отца без особой волокиты отправили в штрафную роту и — в бой; они шли рядом, под Пиллау. На Куршской косе осколком мины он был ранен. Этого оказалось достаточно — «кровью смыл» свою вину. Дальше госпиталь. Потом фильтрационные лагеря. И вот почти через год после Победы и у нас праздник.

Я пристально рассматривал отца со стороны. Пытался представить, как с этого момента изменится моя жизнь. То, что она изменится, я не сомневался. Надо мною появился ещё один человек. Ещё один ограничитель. Во мне шевелился червячок беспокойства: пять военных лет безотцовщины даром не прошли. До этого я рос, как хотел. По хозяйству меня никто не просил помогать, а сам я даже полена дров на растопку не принёс (не могу вспомнить, где вообще у нас хранились дрова).

Утром отец планировал сходить в сторону лапшангского оврага, потропить русака. Брал меня. Возбуждённый, я завалился «занозой» между отцом и матерью. Другого места, конечно, не нашлось.

Только как теперь уснуть-то?! Столько впечатлений сразу: и отец с войны вернулся, и на охоту-то завтра идём вместе, и школу «задвигаю».

Во — привалило!..

Ночь была длинная и беспокойная. С рассветом, убедившись, что снег не идёт, на улице мягко и тихо, мы с лыжами под мышкой двинулись за деревню, мимо скотного двора. Небо светлело. А у нас на душе и так было светло. Вышли в поле. В прошлом году на нём выращивали лён и часть его, неубранного, пустили под снег. В тёмных бабках стоял он по краю оврага.

След русака мы взяли сразу за скотным двором и, возбуждённые, начали тропить. Попадается «петля», потом «двойка», значит, заяц идёт на лёжку. Отец давно готов. Я напряжённо выглядываю из-за могучей отцовс-

кой спины, стараясь первым засечь подтём косо́го. Движемся осторожно, по-кошачьи, часто останавливаясь. Нервы на пределе. Снопы все одинаковые: их много, как фигур на шахматной доске. Гадай, под какой заяц лежит.

Не углядеть нам его...

Так и есть! Вовремя ни отец, ни я не заметили, как русак соскочил с лёжки и, сгорбившись, прикрываясь бабками, нехотко замелькал между ними. Пока перехватывали его бег, он уже в поле, далеко. На чистом месте, но вне выстрела. Преследовать бессмысленно: без собаки его не вернуть. Потоптавшись, мы подались домой.

На подходе к деревне батя не удержался: нацарапал куском кирпича на старых воротах скотного двора мишень, отошёл и, долго выцеливая, спустил курок. Выстрел заставил чуть вздрогнуть. Подошли к мишени. Сосчитали количество дробин в круге, оценили глубину их проникновения в сухие доски ворот. Ружьё било кучно и резко.

На другой день, когда я пришёл из школы, отца дома не было — ушёл устраиваться на работу. Эдешнему колхозу нужен был кузнец. Способных держать кувалду хватало, а вот мастера не было. Условия оплаты достойные: натурально — мука, масло, мясо.

В день знакомства председатель местного колхоза Лебедев Сергей Анфилович, или, как звали его в народе, Анфилич, посетовал на поломку ключика для завода карманных часов, и отец предложил свои услуги. Тонкая работа. Здесь мало быть кузнецом. Такой заказ по плечу только слесарю высшей квалификации. Отец вложил в поделку всё своё умение, и, когда вручил этот «золотой» ключик председателю, тот не мог сдержать искреннего восхищения. Он важно расхаживал по конторе и всем демонстрировал ювелирное изделие, обязательно требуя признания и своей заслуги: какого умельца он приобрёл в хозяйство. С тех пор они с отцом прониклись взаимным уважением и крепко сдружились.

Я теперь крутился возле отцовской кузницы. Где ещё можно столько увидеть? Интересно наблюдать за волшебным процессом, когда из горна достают алый, вперемешку с огнём, неопределённой формы кусок раскалённого металла. Молотобоец размеренно ударяет кувалдой по тому месту, куда указывает молоток кузнеца. Без лишних движений мастер поворачивает заготовку, постепенно придавая ей форму готового изделия — лошадиной подковы или зуба бороны.

Кузнечное хозяйство было старое и никуда не годное. Пришлось переделывать горн — сердце кузницы, заменить насквозь дырявые меха.

После ремонта мехов отец несколько кусков сухой кожи, что покрепче, принёс домой. Облагородил их, смазав свиным салом, размял. Затем освободил обеденный стол и начал что-то кроить.

— Патронташ, — ответил он мне на любопытный вопрос.

Я заворожённо смотрел, переводя взгляд с его просветлённого лица на умелые руки, ловко и уверенно творившие задуманное.

Счастливые минуты...

А как-то раз совершенно случайно выяснилось, что отец умеет и рисовать. Хорошо помню этот вечер. Керосиновая лампа, отец за столом. Видно, хозяйственных дел тогда не нашлось. Он взял лист бумаги и без моей просьбы (я и не мечтал об этом просить) нарисовал карандашом: зима, лесная дорога и по ней идут лесовозы ЗИС-5, точно такие, как у нас в леспромхозе до войны. Меня потрясла реальность этого графического образа, возможность простым карандашом так ярко изобразить события.

Наши отношения с отцом на глазах срастались. Внешне он не проявлял ко мне ласки. Не помню, чтобы когда-нибудь папка подхватил меня на руки, обнял, потискал, поцеловал, игриво подкинул к потолку. Но какая-то великая сила всё больше тянула меня к нему. Сдержанным он был и в наказаниях, хотя поводов было достаточно. Только один раз он предпринял попытку отходить меня ремнём (я, играя, изрезал ножом кору яблонь). Куда там! Он только ещё снимал с брюк ремень, я — юрк! — под стоящую рядом кровать. Матка мне на подмогу. Заслонила от отца грудью:

— Да полно, Лёль! Не ты родил, не тебе и дотрагиваться до него.

Отец плюнул и отступил.

На дворе начало апреля. Весна набирает силу.

Она разрушает построенные зимой дороги, тормозит душу. Весеннее тепло окутывает деревья, пробуждая их от зимней спячки. Лес, стряхнувший с себя водянистый снег, темнеет и как бы становится ближе к деревне. Оживают перелески, наполняясь пробным тетеревиным токованием. На глухариных токах чертят по снегу мошники. Появляются перелётные утки, а значит, надо отложить до времени все будничные дела и включиться в весеннюю песню.

Отец дошивает очередную составляющую охотничьей экипировки — рюкзак. Его тоже нигде не купишь. Но человек с ружьём и авоськой вместо рюкзака — это не охотник. Пригодился старый брезент. Отец любовно об-

шивает кожей клапаны многочисленных карманов. Ремешки крепит самодельными медными заклёпками: не столько для прочности, больше для красоты. Подсадную утку одолжил у лесника.

Место охоты, выбранное отцом, называлось Шалуги. В километре от подворья, у леса, болотистая низинка заполнена вешними водами.

Вышел он из дома задолго до вечера — предстояло до зорьки соорудить шалаши. Я так и застыл тенью на крыльце, тоскливым взглядом провожая преобразившуюся фигуру отца, с не свойственной ему торопливостью широко шагнувшего в сторону поля. Мать звала ужинать, я отмахивался: как вообще она может сейчас думать о еде? Весь вечер я напряжённо ждал, не прозвучит ли выстрел с той стороны. Но сколь ни поворачивал ухо в сторону поля, как ни прислушивался, приоткрыв рот и затаив дыхание, долгожданного звука так и не услышал. Быстро темнело. Захотелось есть. В избе под потолком приручѐнной луной светилась «летучая мышь». Мать собрала на стол. Волнение потихоньку отпускало. Наевшись, я почувствовал усталость, вроде сам только что с охоты.



Отец вернулся в полной темноте. Я подбежал к нему с немым вопросом в глазах... Он степенно поставил в угол ружьё, корзину с подсадной, снял с плеча влажный рюкзак, подал его мне, и присев на табурет, стал стягивать раскисшие бахилы. Я придвинулся к свету, непослушными руками растянул клапан рюкзака, в нетерпении сунулся внутрь. Там что-то холодное, гладкое.

Есть! Я потянул и выхватил наружу.

Изба словно осветилась: кряктовый селезень. Я оглаживал отливающую бирюзой точёную голову, атласную шею, коричневую грудь, кудряшки на кончике хвоста и яркие оранжевые лапки.

Мать недолго дала полюбоваться. Разрушила всю эту красоту, положив начало многолетней заготовке пуха для семейных подушек.

Ну никакой поэзии...

Не только отец любил охоту.

В доме напротив жил человек, для которого из всех времён года предпочтительней всего была осень: с зябкими туманами, слякотью, дождевой изморосью, с увядающей осенней красотой леса и надёжным охотничьим ружьём.

Его звали Кокин Александр. Он с войны вернулся инвалидом: вместо левой руки — культя, почти по локоть. Вот это «почти» как раз и служило ему тем местом, куда он бросал ружьё при выстреле навскидку.

Сашка Кокин был на десять лет моложе отца. Среднего роста, сухоощав, подвижен и горяч, особенно на охоте. Он был «затяжным» гончатником. И, видно, за верность страсти судьба подарила ему гончую, какие на век рождаются единицами. Не забуду её никогда. Выжловка, двух осеней, по кличке Эльма. Взята была щенком. Работать начала с шести месяцев. Крепкие, в комке, лапы, хорошо развитая грудь не знали «стомчивости». Чутьё, как бритва, не оставляло ни зайцу, ни лисе шансов оторваться ни в июльскую жару, ни в дождь, ни в январский мороз...

На дворе грибной сезон. Мы с матерью решаем прогуляться до ближней опушки. Мать в положении и далеко заходить в лес побаивается. Год на грибы выдался на редкость урожайный. Я хорошо помню это место: белые грибы с одноцветными тёмными шляпками выстроились нам навстречу семьями по шесть — десять штук, будто на плантации. Их количество даже для этих богатых мест было необычным. Мать, истолковывая это обстоятельство по-своему, беспокоилась:

— Быть опять войне.

Наполнив наши неёмкие прогулочные корзины, мы вернулись домой.

Отец урожаям грибов заинтересовался, и на следующий день мы уже втроем, с Кокиным, пошли на то же место. Решили взять с собой Эльму: пусть разомнётся — охота на носу.

Приходим. Грибов не стало меньше. Начали с азартом собирать. Выжловка ртутью разливается по мелочам вдоль лесной опушки. Мужики, собирая грибы, невольно поглядывают за гончей.

И вдруг Эльме как на лапу наступили.

Она взвизгнула — и началось... Мужики, не сговариваясь, кинулись в разные стороны выбирать лаз. Меня оставили невольным заложником корзины. Одного — дрожащего от возбуждения. Гон стал удаляться, но не в сторону полевых просторов, а завернул в лесной массив.

Стало ясно — беляк! Он пытался сбить гончую со следа, но Эльма, не дав ему использовать свои уловки, выжала зайца на край опушки. И тогда он, лишённый выбора, под энергичным натиском выжловки, утратив всякую осторожность, вылетел прямо на нас, воспринимая охотников как меньшее зло. Сегодня его расчёт был верным. Тут же, как по нитке, появилась Эльма и, не удостоив нас взглядом, не реагируя на наши подбадривания, обдав горячим дыханием, промчалась следом.

Вечерело. Лес постепенно терял очертания. Мы стали остывать и вроде даже устали. От чего? От топтания на месте? От страсти, не находящей выхода?

Заяц, проходя несколько раз у места подъёма — лёжки, переместился обратно в лесной массив и там накоротке начал кружить. Эльму голосом с гона не снять — бесполезно. Её в этом состоянии не снимешь ни рогом, ни звуком выстрела из ружья. Только ловить или, махнув рукой, отправляться домой. Решаем ловить. Подобрал корзины, двинулись.

Гон кипит. Голос у Эльмы какой-то особенный, под стать всем её необычным качествам: чистый, богатый оттенками тонов, которыми выжловка свободно выражала своё состояние души. Он был однотонным, когда добыча отрывалась; лился дуэтом, когда расстояние между ними сокращалось, и даже раскладывался на три голоса, когда Эльма видела зайца. Такая собака — как скрипка Страдивари.

В лесу совсем стемнело. А гон, будоража засыпающий лес, продолжался. Жаркий. Грубо разрезая тишину дивным переливчатым стоном, который гончатники издавна называют песней.

Но нам уже не до песен.

Саня встал удачно: беляк прошёл в сажени от него. Он приготовился к встрече с Эльмой, молчком бросился на неё, за что-то ухватился, но мокрая

выжловка в азарте налимом выскользнула из рук. Отец стоял на своём лазу, слышал шуришание рядом, но, не обладая ловкостью Кокина, был бесполезен. Я тем более: сидел на корзине в нерешительности, не зная, как себя вести. Вокруг была сплошная темень.

Перекликаясь, мы сошлись. Пока шарахались, Сашка потерял свою корзину. Одно к одному. Придётся завтра с утра бежать за ней. Эльму искать не пришлось — вернулась ночью. Голод привёл.

А меня с этого дня охота накрепко присушила к себе.

Вообще-то лето несло мало удовольствий: жара, пыль, настырные комары и мухи. Чтобы спастись от укусов, хотя бы на время сна, я в просторных сенях коридора, над кроватью, смастерил полог. Подвесил его и лежу, блаженствую. Если жарковато — одеяло откину. Никто не кусает. Никто не мешает.

Нет, смотрю, кто-то лезет. Клавка! На целую ночь... ко мне в полог. Моей фантазии на такое явно бы не хватило.

Чем мы занимались? Мне одиннадцать, ей тринадцать. Лежали рядышком, дышали, играли в «дочки-матери», изучали друг друга. Невольно сравнивая тело девчонки со своим, я подметил одну важную конструктивную особенность. Оно было... Как бы это сказать поточнее... Ну, скажем так: не совсем обычным.

О! Неполнокомплектным! (Будет правильной.)

Свою догадку я решил в ближайшую же ночь перепроверить, но наш кружок юных натуралистов взрослые безжалостно разогнали. Впечатление о лете было испорчено окончательно.

Зима. Она в этот год малоснежная. Используем любую возможность для охоты. Запланировали выход и на ближайший выходной. Сбор в шесть утра. Погода стоит заказная. И тут всё рушится: к утру, прямо к нашему выходу, матери приспичило рожать. Вот что значит — не увлечена охотой. Ни один зайчатник себе такой вольности не позволил бы. Начались схватки. Роды тяжёлые. Мать стонет, лёжа на полу. Отец помехой беспомощно ходит вокруг. Быстрее бы уже! Может, успеем ещё отохотиться.

И появился на свет мой брат — Валентин. Отец решает остаться дома. Ну вот, я так и знал!

Стук в дверь: это Кокин с Эльмой на поводке. Отец пошёл объясняться. Не знаю, что уж он будет там придумывать... Охота сорвана, и оправданий тут быть не может. Я, видя, как судьба отвернулась от меня, огорчённый, лёг на кровать и тоже в отместку отвернулся от всех и заснул.

Великой радости от рождения брата я не испытывал. Понимал, что теперь у меня проблем только прибавится. Ну я же говорил... Подвесили к потолку на гибком оцепе люльку. И качай. Если руки устали, предусмотрен ножной привод — верёвочная петля под ногу. Больно просто!

Понимая моё положение, мне помогла Клава. Она приходила и добросовестно качала малыша. Правильно подмечено: не имей сто друзей, имей сто подруг!

В гостях у деда сытно, а всё же тянет домой, в Анисимово.

Летом отца приглашают на работу шофёром. Возвращение в свой дом даёт ему шанс почувствовать себя Мужчиной, а матери — полноправной Хозяйкой. Мечталось вновь расправить плечи, выпрямиться и начать жить набело. С чистого листа.

Переехали.

Дворина не обустроена. Огород не посажен. Да разве дело в огороде... Теперь главное — вдохнуть душу в заурядное деревянное строение, которое станет для меня самым святым местом на земле — родительским домом.

Особого сожаления, оставляя Лубяны, я тогда не испытывал. Если бы не переезд, то это лето вообще ничем бы не отличалось от других. Выхожу на улицу — меня встречает тишина. Вся деревня на сенокосе (не знаю, лично мне этот сенокос с детства «не показался»).

Тянусь домой. В запечи, под чистым льняным полотенцем, нахожу свои любимые плюшки. Наедаюсь, и мне опять становится скучно.

Пойду Вальку помучаю...

Полегчало!

Наступило первое сентября, неожиданно и нежелательно.

В школу, в пятый класс, теперь нужно было ходить за два километра в село Лапшанга, богатое для меня историей. Отсюда родом бабушка Дарья. Здесь в церкви венчались родители.

Теперь в алтаре колхозный склад.

В здании бывшей духовной семинарии — школа.

А на погосте, прямо на могилах, школьный двор — место проведения торжественных линеек.

Ни время, ни наши кирзовые сапоги не смогли полностью втоптать могильные плиты в грязь. Они упорно, будто заговорённые, молча поднимались

из земли. Я любил читать выбитые на камнях строки, как обращения из другого, неведомого, мира.

Сюда, на свои пионерские сборы, мы приглашали старших товарищей. Слушали их рассказы о подвигах. Клялись быть похожими...

Наиболее уважаемые Советской властью люди имели возможность не тратиться на изготовление памятников для своих близких, а брать эти. Я и теперь узнал бы многие плиты, использованные по «второму кругу».

Сэконд-хэнд, мать вашу!

Начало учебного года пролетело незаметно. Вот и ноябрьские праздники. Морозит крепко. Земля, не прикрытая снегом, промёрзла и гудит под ногами.

Река встала. Приготовилась к зиме.

Спускаемся под угор. Нас трое. На валенках — примитивные коньки. Одеваемся тепло. На мне ватное зимнее пальто, тёплые рукавицы. В руках чикмара — специально выпиленный из дерева чурбак с ручкой-сучком. Пробуем лёд: держит отлично, только озорно потрескивает от вечернего заморозка. Но мы хорошо знаем разницу в надёжности осеннего и весеннего льда и потому доверяемся. Двигаемся в сторону Михаленино. Через прозрачный, как стекло, лёд выискиваем стоящую у берега рыбёшку, ударяем чикмарой по льду, точно над ней, и глушим рыбку. Так и продвигаемся вдоль берега.

Мне на пути попадается весло. Оно не подходит к нашей домашней лодке, но какая-то внутренняя хозяйская жилка заставляет поднять это бесхозное добро и тащить за собой, чувствуя неудобство на каждом шагу.

Мы отбобмили весь макарьевский пляж. Подняли несколько налимчиков. Переехали через реку. Там прошли. Пора домой. Я перехватил прилипшее весло в другую руку и заскользил. На середине реки меня окликнул кто-то из друзей. Я резко затормозил. И вдруг чувствую, что лёд перестает быть жёстким. Он податливо уходит из-под ног.

Я оказался в полынье.

Чёрная холодная пучина обожгла меня.

Первое, на что обратил внимание после секундной растерянности, — «ненужное» весло. Когда я повис на нём всем телом, края полыньи выдержали и не обломилась.

Друзья благополучно достигли берега и уже оттуда молча, парализованно наблюдали за мной. Видно, помощи от них не дождёмся (на бога я и сейчас-то мало надеюсь, а тогда и подавно его в расчёт не брал). Одна надежда — на себя. Я изо всех сил пробиваю чикмарой лунку впереди себя и на

вытянутой руке держусь. Пальцы постепенно слабеют. Течение настойчиво затачивает меня под лёд.

Я не плачу, не кричу... Тихо тону.

Ватное пальто — от него не избавиться. Водолазными ботинками становятся валенки. Начинаю снимать их. Получается с трудом.

Один валенок почти снял.

С угора спускается человек. Издалека не узнаю, кто. Он на коньках. Решительно пересекает реку и кричит мне:

— Витька, держись!

Одноклассник, Лёвка Карпов, с которым я сижу за одной партой. В руках у него сучковатая палка. Метров за двадцать от полыньи он лёг и попластунски с деревянным обрубком в руках пополз ко мне. Как эстафетную палочку, передал свободный конец сучка в мои руки и потянул на себя. Я подтягиваюсь, обламывая кромку льда. Вот-вот его самого в полынью стащу... Одной рукой переставляю весло, другой тянусь за сук. Края полыньи ближе к берегу становятся крепче, и вот я выбираюсь на лёд. Он трещит, крошится, но держит. Передвигаюсь без резких движений и вдруг замечаю: «А где же вторая варежка?» Добротная такая, меховая. Я оборачиваюсь и вижу её, одинокую, на краю полыньи. Если бы утонул, ясно, что варежка не нужна, но сейчас-то обошлось. Разворачиваюсь и ползу к «родной» полынье. Замёрзшими пальцами дотягиваюсь до рукавицы и, развернувшись на пузе, как тюлень, правлю обратно к берегу.

Стемнело. Подмораживало.

Пока отжимали пальто, валенок колом замёрз, да так и остался полуснятым. Одежда превратилась в сплошной ледяной панцирь: шевельнёшься — трескотня идёт. Сам идти не могу. Меня подхватили под руки, как манекен, и повели. Затащили на старину, к бабушке. Уложили на русскую печку, достали где-то чекушку водки (большой дефицит). Отогрели, отпоили, на другой день я пошёл в школу.

Стоило ли ради этого спасать?

Весна.

На глазах меняется природа.

У дома на берёзе повешен слаженный отцом скворечник. Долго птицы не решаются поселиться в нём — настораживает необычность жилища: крылечко с точёными перильцами, резные наличники, крыша с ненужной трубой. Но смельчаки нашлись.



Просыпается река: белёсое полотно зимнего ледяного панциря, словно кистью невидимого художника, покрывается тёмными мазками. Уставшая за зиму вода, усердно подтачивая нагретый рыхлый лёд, помогает солнцу и упорно стремится вырваться из ледяных оков. Вот и первые полыньи, расширяющиеся с каждым часом. Нарастает и множится издаваемый рекой гул. Его слышно издалека. Со скрежетом, огрызаясь, наваливаются друг на друга льдины, выползают на берег, создавая хрустальные надолбы. Река освобождается ото льда, начиная с низов, частями, плёсами.

Весной угор первым принимает солнце, подставляет под его ласковые лучи свои бугристые бока, вдыхает свежий ветер и запахи молодой травы. Мало в деревне жителей, оставшихся равнодушными: каждый, хоть ненадолго, да приходит на угор в ожидании, когда пронесёт реку. Для всех это торжественное событие, которого ждут всю долгую зиму.

Вечерами сюда, к скамейке, стягивается и стар, и млад.

«Послунявиться», как выражался мой отец.

Трескотня ледолома прошла, но представление не окончено. Извилистый поворот, как театральный занавес, выпускает на прямой плёс белым лебедем сойму. Это сооружение представляет собой огромные плиты заготовленного зимой леса с бытовой избой, с весёлой командой сплавщиков. Увидев сойму, люди облегчённо выдыхают, точно сами помогли ей появиться. Каждый воспринимает увиденное по-своему: для одного — это «алые паруса» мечты о сказочной жизни, для другого — уплывающие безвозвратно годы...

Постепенно я вырослел. Менялись мои интересы.

С младшим братом нас разделяли одиннадцать лет, поэтому ничего общего с ним быть не могло. Мало помню наши отношения. Разве что один эпизод.

Купили мне родители модную, красивую кепку. Собираюсь на гулянку, ищущу её — нет нигде. Пошёл на улицу. Разузнал: Валька забрал. Я кинулся под Михаленино, на перевоз. Бегу под гору, смотрю — вываливает навстречу. Надо было видеть... Сам весь в глине, новый картуз в глине, козырёк набок. Попало ему, конечно.

К сверстникам я интерес утратил. Со взрослыми парнями было куда веселей. Выпивка. Подружки. Растревоженное тело и душа испытывали великую смуту. Я мечтал встретить красавицу. Ну хоть чуть-чуть похожую на героинь кино: Серову или Ладынину. Моя мечта — белокурая. У нас в деревне таких не было, и я подался в сторону Варнавино — «города», как хотели считать его старожилы.

По-родственному заглянул к Антоновым. Их сын, Володя, приходился мне двоюродным братом и закадычным приятелем.

Решаю, куда дальше идти. Рубль, полученный на мороженое, кажется, скоро насквозь прожжёт карман брюк. Подаю его продавщице и стою в ожидании своей порции мимолётного счастья. Стою — и чувствую на себе взгляд. Поворачиваю голову. На меня с интересом смотрят огромные серые глаза... белокурой, моей мечты.

Так и не знаю, ел я тогда мороженое или нет?

С этого момента всё во мне перевернулось — Она незримо преследовала меня днём и ночью.

В зимние каникулы, на Новый год, не ожидая от деревенского Деда Мороза никаких сюрпризов, я засветло отправился в Варнавино. Остановился у Антоновых. Вовка утюжил брюки и собирался на бал-маскарад. Мне тоже, как могли, придали городской вид. Обменяли валенки на ботинки, аккуратно причесали.

Тётка Шура для поднятия в нас боевого духа взяла балалайку и ободряюще сыпнула вслед:

Меня судили на бору
За Матанькину дыру.
За её черной хохол
Да пишут пятый протокол.

Мы у Дома культуры.

Людей — не протолкнуться. Очередим в раздевалке, ждём. Народ прибывает. В этой толпе я вижу знакомое лицо. Взгляды наши встретились.

Она растворилась в массе.

Музыкальное сопровождение бала — баян и входившая в моду радиола. Зал задышал музыкой. Я ищу свою золушку. Вижу её. Танцует с одним, её перехватывает другой и ещё — Володя, мой двоюродный брат. Зависть моя не знает предела. И безысходность... Полная.

После вальса Володя, разгорячённый, подходит ко мне:

— Она хочет пригласить тебя на «белый» танец.

Но ведь я не умею!.. И уйти ноги не несут. Объявляют «белый» танец. Дрожу, как на верном лазу при охоте с гончей...

Подходит.

Подходит с такой завидной уверенностью.

— Пойдём танцевать.

Моя бессонная мечта, нарисованный образ стал явью.

Её звали Лиля Луковицкая.

Бал подходил к концу. Все, вероятно, определились со встречей Нового года. Вижу — из оживлённой группы, с другого конца зала она направляется в мою сторону. (Ну, думаю...) Нежно берёт меня за руку и ласково произносит:

— Проводи меня.

Я, тушуясь, подался следом.

Провожая её до дома. Она показала мне затемнённое окно своей спальни и... не спешила домой. Потоптавшись у входа, как-то невольно мы оттопали от него и, приблизившись друг к другу на дозволенное расстояние, тихо шли по пустой улице. Куранты отбили двенадцать, и мы, обменявшись взглядами, поняли, что это, возможно, и есть настоящая встреча Нового года.

Медленно, как по заказу, падал снежок, крупными снежинками щекоча лицо. Мы ловили их руками, разглядывали.

Она,
заметив на моей щеке снежинку,
с уверением, что не тает,
неожиданно прижалась к ней.
Я почувствовал её губы...

При расставании Лиля предложила: «Завтра вечером родителей не будет, приходи».

На другой день, сдав городскую обувь, я отправился к ней. Тихонько постучался. Переступил высокий порог. Повесил пальто на вешалку и робко присел у порога на краешек стула.

— Напугался? Нет никого...

Она крутилась рядом в куце халатике, не смущаясь, походя задевая меня, своим поведением всё больше придавая обстановке вид домашней. Я постепенно успокоился и просто смотрел на неё. Млел... С какими-то крапинками цвета спелой ржи в длинных, распушенных волосах, гибкая, она была чуть ниже меня ростом.

Время двигалось к ужину. Сели за стол. Она, согласовывая, спросила:

— Разве бывает праздничный ужин без стопки?

От такого предложения на душе просветлело. Здесь-то уж мы себя покажем — не дилетанты. Я согласно отмолчался.

Она достала из шкафчика графин, поставила гранёные рюмки, сама налила по полной.

— За что пьём?.. — и тут же, поправившись: — За Новый год!

Я уверенно взял рюмку. Первым привычно выпил до дна. Обстановка стала теплее. Я ждал, ну вот она сейчас скажет: «Пошли спать» — и предложит: или я иду спать в её комнату, она остаётся здесь, на двухспальной, или наоборот. Смотрю, она разбирает кровать и, приготовив, обыденно говорит:

— Давай ложиться, поздно уже, я устала.

Без демонстрации раздевается, укладывается к стенке, явно обозначив своё место. Я начал потеть... Сам в нерешительности: снимать брюки или нет. На мне великолепные свадебные брюки отца, сшитые из отличного английского бостона. Отцу в них так и не пришлось пощеголять — помешала война. Сегодня они, узкие, с подмылком, «забережённые» отцом, дождались меня.

Вот так и сидел я на кровати своей мечты.

В штанах! В растерянности...

Не выбрав ничего умнее, я завалился прямо в одежде. Её терпению пришёл конец. И в качестве последнего аргумента:

— Я тебе завтра брюки гладить не буду.

Сдаюсь. Сейчас лучше быть «ведомым». Сознание обволакивает ощущение невесомости. Мы замолчали.

Дальше слова были не нужны.



Сначала она...
Затем начал «тонуть» и я...
Мы перестали существовать
для остального мира.

Эта ночь была слишком коротка.

Очнувшись, я почувствовал её отсутствие. Слышу потрескивание горящих дров в печурке — пожалела меня будить, топит сама. Вижу её, ставшее таким родным, лицо. На щеках играют румяные зарницы пламени. Подошла ко мне, коснулась пальчиком носа:

— Вставай, соня, я уже завтрак приготовила.

Наскоро перекусив, снова легли в ещё не остывшую после ночи кровать. В дверь много раз барабанили. Мы заговорщицки молчали.

Зима прошла для нас необычно. Беспокойно...

Она — ученица выпускного класса. Нужно готовиться поступать в институт. Встречались редко. Ночевать у неё мне больше не приходилось. Уходил в ночь по заснеженному полю, через Красницу — овраг, до которого она при любом моём сопротивлении провожала. Уходил с напутствием, дорожке которого ничего с тех пор не слышал:

— Я ЖДУ ТЕБЯ ВСЕГДА!!!

А иногда, не успев сходить в школу после свидания с ней, я получал письмо с узнаваемым угловатым почерком на конверте, от одного прикосновения к которому бросало в дрожь...

Я собираюсь в Варнавино за хлебом. По пути встречаю отцовского напарника Николая Карпова. С его сыном, Лёвкой, мы учимся вместе и сидим за одной партой. Именно Лёвка и был моим неожиданным спасителем, когда я провалился осенью под лёд, в то время, как все остальные только глазели.

Пошли вместе — вдвоём надёжней и веселей. За околицей, обернувшись, мы увидели, что нас неспешной рысцой догоняет стая собак. Ну, бегут себе и бегут. У них, небось, свои неотложные дела. Весна. Начало марта — «нерест». Мы продолжаем спокойно идти. Но стая поравнялась с нами, и начинается что-то непонятное. Собаки окружают, и к Николаю в ноги бросается неказистая маленькая собачонка. Её, домашняя, Дамка.

Это была сучка. Природа два раза в год наделяет каждую самку в собачьем мире притягательной для самцов силой. И сейчас Дамка невольно оказалась королевой этого собачьего бала. Лохматые кавалеры, грязно домогаясь, неотступно следовали за ней, слепо повинуясь силе природы.

Увидев хозяина, собачонка в последней надежде кинулась ему под ноги, скуля о помощи. Кобели пришли в ярость. Сейчас им было не до вмешательства Службы нравов. Злобно рыча, они набросились на Николая. Он грубо отпихнул свою собачонку ногой. Та взвизгнула, этим ещё большие подстегнув агрессивность стаи. Псы, как по команде, теснее обступили Николая. В руках у него на беду ничего не оказалось. Вокруг чистое снежное поле. Ко мне интереса у собак не было, а Николая начали рвать. Брызгающие разгорячённой слюной, оцетинившиеся дикие звери. Из белого армейского полушубка клочьями полетела шерсть.

Наконец, ему удалось отлепиться от сучки. Та выскочила на дорогу, и за ней вся стая, разом забыв про нас.

Осмотрелись. На укусы Николай в горячке не обратил внимания — заживут, вот полушубок жалко. Неспешно пошли дальше. Будет о чём рассказать дома. Неприятное событие. Одно хорошо — теперь оно в прошлом.

Но что это?!

Мы с ужасом обнаружили, что стая в полном составе нагоняет нас снова. Приближается. Накрывает чёрной тучей.

И всё, как в жутком сне, повторяется: сучка — в ноги к хозяину, свора наваливается на него, я, с пустой авоськой, в стороне.

Бедовым смрадом
висит над истоптанным кровавым снегом
злое рычание псов,
визг сучки
и глухие маты Николая.

На спине у него повис здоровый пёс. Шерсть на загривке оцетинилась. Волком рвёт голое тело, подбираясь к шее. Глаза налиты кровью. Пена хлопьями разлетается из оскаленной пасти. Николай едва держится на ногах. С каждым укусом ему труднее и труднее.

Оступился. Повело!..

Если упадёт — это смерть.

Нервно оглядываюсь по сторонам: ни палки, ни камня вокруг. Что за беспечность! Ведь могли за это время хоть что-то придумать. Вижу кусок проволоки у столба, пытаюсь выдернуть его из-под снега — не получается.

Собаки неожиданно, как и напали, разом оставили жертву, свалив в сторону. Я мельком глянул на Николая: алый от крови полушубок ошмётками висел на истерзанном теле; бледное, с якутскими чертами лицо сейчас до смешного напоминало перепуганного оленевода.

Этой же ночью Николай самолётом отправили в Горький. Перенёс одну за другой несколько операций. Всё обошлось, но он ещё долго лежал в больнице в Варнавино, восстанавливался. Надо было бы зайти, поведать, да некогда.

Конец марта. Солнце всё решительнее проявляет себя. Я тороплю время. В этом году отец доверил мне своё ружьё, и я с волнением начал готовиться к охоте с подсадной.

Лилька чувствует моё состояние:

— Тебя теперь не дожидаться, хоть письмо напиши.

В этот вечер я спать не ложился. Нужно затемно добраться на место и успеть сделать шалашик (не школа же о нём позаботится). Утка из дикого помёта. Она куплена на стороне и привезена специально, аж из Заболотья. Прислушиваюсь к новосёлке, выпущенной в чулан. И она, то ли от волнения в новой обстановке, то ли по другой причине, молчала.

Наша молодая гончая Вьюга, услышав, как я хлопаю дверью, залилась лаем — ей, видно, тоже хочется на охоту. Тоже невтерпёж.

Я запихал подсадную в корзину и двинулся к реке. Слышу, кто-то шлёпает следом... Вьюга! Как она выскочила? Шикнул на неё и, считая, что этого достаточно, начал в полной темноте шариться под угор. Нащупав лодку, уложил на дно поклажу и оттолкнулся от берега.

Весна на редкость активная. Бурное половодье затопило всю пойму. Это затрудняло не только выбор места для охоты с подсадной, но даже просто поиск сухого взгорка. Я знал: высокие места надо искать на Волме. Задолго до зари наткнулся на островок. Причалил. Начал обустриваться. Соорудил укрытие. Расправив болотники, пошёл пробовать глубину. Нормально. Забил в дно заранее припасённый кол с вращающейся площадкой — местом отдыха и обсушки подсадной. Заря не ждёт — беспокоит своим пробуждением. В тёмном небе, над самой головой, прошла пара кряковых, сопровожда-

емая шварканьем селезня. Тяну из корзинки упирающуюся подсадную, несу к воде. Пристёгиваю шнур от «ногавки» к вращающемуся кругу.

Весенний утренник. На плёсе с рассветом тонким ажурным стеклом появляется ледок. Он всё теснее обжимает утку.

Сижу в шалаше и начинаю замерзать.

Мой мысок, рядом с «одёнком» прошлогоднего стога сена, пересёк зайчишка в непостижимом весеннем наряде. Словно только что из пьяной компании. На нём рваный, клочьями, грязный халат. Почуяв меня, он тормознул. Встал столбиком. Постоял, прислушиваясь, и сунулся в крепи, оставляя на кустах свою «зимнинку».

— Вьюги нет на тебя!

Смотрю на подсадную.

Некрупная (то-то хозяин особенно долго не торговался — мяса мало), темноватого крепкого пера, не свойственного домашним уткам.

Она постепенно осваивается в обстановке. Не прячет в траву голову от каждой тени пролетающих в весеннем небе пернатых. Плавает, замирает время от времени и, вытянув шею, прислушивается к весеннему гомону.

Покувыркалась, выискивая на дне корм, и затем сытая, довольная... подала голос.

Классика!

Это не был звук через набитый зоб, не голос беспокойства или тревоги. Это был призыв, откровенно выражающий сексуальные намерения. Я, как ни выжидал, сидя в шалашке, эту «трель», как ни молил о ней, от неожиданности выронил из рук сигарету (я и тогда покуривал). Голос хриловатый, убедительный. (Не знаю, как селезень, а я бы на его месте, забыв про всё, прилетел.) Ещё раз короткая «осадка». Слышу в ответ далёкое приближающееся шарпанье.

Я замер, сжимая холодное ружьё.

Селезень. Прильнув к бойнице, пытаюсь заметить его вовремя. Смотрю, идёт на посадку, а там лёд. Растопырив оранжевые лапки, неуклюже скользит мимо утки. Не успел подправиться: я ему этой возможности не дал.

Прогремел выстрел.

Выскочив, я подхватил тёплую птицу, заодно расшевелил ледяную плёнку вокруг подсадной и быстро вернулся назад. Зари осталось немного. Моя душа и сердце поют в унисон с природой. Я хмелею от согревающейся земли, талой воды, набухающих почек. Никак не могу избавиться от зябкости весеннего утренника. Остывший организм клонит ко сну. Утка

тоже поостыла. Выбралась на кружок, чтобы не замёрзнуть. Поёживается, шелушит перо. Но обстановку чётко контролирует, без интереса провожая взглядом куликов и кроншнепов. Сквозь дремоту улавливаю какое-то движение на воде... Кто-то нахально пробирается прямо в направлении моей шалаши. Сон как рукой сняло. Предстоят взаимные упрёки, недовольство. Так не до этого сейчас!

Реплики приготовил заранее.

Что?! Столбенею.

Выбравшись на берег, из последних сил отряхивается Вьюга...

В горячке я вырвал вицу и начал бессознательно охаживать её гончую, которая, увёртываясь от ударов, заметалась по маленькому островку. Наконец, опомнившись, я взял мокрую, замёрзшую собаку на руки и потащил её в шалаш. Уложил на землю, укрыл снятой с себя ватной курткой и прижался к ней спиной. Согревшись, собака успокоилась и затихла. Как она меня нашла — в половодье, за несколько километров от берега?

Утка, отдохнув, снова настроилась на «лирику» и подала голос. На него сразу, ожив, отозвалась Вьюга. Я, больше не маскируясь, вылез из шалаша. Заря уходила до вечера. Пора собираться и мне. Выловил подсадную. Попутно оценил её состояние — в очень хорошей форме: не намочла, не шарахается от приближения к ней. Жаль только, что она не понимает, сколько радости сегодня доставила.

Сокращая ночной путь, двинулся по затопленным низинам прямо по направлению к дому. Пока грёб, согрелся. Вьюга, уткнувшись носом в добытого селезня, тихо подрагивала под фуфайкой.

Причалил лодку к берегу, поднялся на угор и обернулся.

Солнце заливало светом не видимую ночью природу. Весна сделала её неузнаваемой и прекрасной. Половодье понастроило множество островков в непроходимых дубовых гривах, напитало влагой грибные места и сенокосы. Сегодня его, половодья, короткий праздник. И я радуюсь вместе с ним.

Отдав дичь матери, выслушал похвалу.

Не тронула. Легковесная, не отцовская.

Пока торопил весну — на носу выпускные экзамены.

Где подсказали, где списал. Всё! Свободен...

Теперь мало кого помню из учителей. Разве что классную, Зыри-ну Нину Фёдоровну. Наша гончая Вьюга была взята у её мужа в деревне Меньшиково.

В школе мечтал: скорее бы на волю. Ну вот — кое-как дождался, и стало «думчиво», как говаривал Володя Антонов. Теперь придётся ещё и на день себе заделье искать.

У нас в доме появился новый жилец: молодая женщина — работница по дому, из соседнего Ковернинского района. Наверное, голод заставил её идти на заработки в другой район. Русоволосая, всегда с ухоженной причёской. Очень сдержанная в разговоре — пока не спросят. Правильные черты лица с оттенком татарского. Неплохая фигура. В глазах какая-то меланхолия. Создавалось впечатление, что её не беспокоит личная судьба. Мне это было только на руку.

У нас не просто ходит — живёт чужая женщина. Мы сталкиваемся в узких коридорах, она смущается. Я делаю эти проходы всё неудобнее... Она молчит, опустив глаза. Я наглею, эти ситуации начинаю создавать искусственно, искать их. Она терпит меня.

Был поздний вечер.

Родителей пригласили на семейное торжество к Антоновым. Меня не взяли, ей уходить было некуда. Я порывисто обнял её и начал теснить в сторону спальни. Не встретив сопротивления, осмелел, повалил на кровать.

ПОСЛЕ не было никаких разговоров...

Полежали вместе недолго. Я выскользнул из постели, она осталась лежать тихо. Я спрашивал: «Чего?», она с грустной улыбкой в ответ: «Ничего...»

Утром я пораньше смылся в Варнавин, а возвратившись поздно вечером, узнал, что она уехала домой. Сразу не почувствовал потерю. Только позже показалось, что дом опустел. Звали её Аннушка...

Шесть лет прошло с тех пор, как кончилась война. Казалось, ничто больше не напомнит о ней. Однажды вечером, в темноте, нарочный принёс отцу «казённую» бумагу со зловещим названием «повестка»: "...получателю в указанный срок явиться в военкомат."

Было не до ужина. Отец и мать подавленно молчали.

Утром отец надел «базарную» одежду. Выглядел он необычайно встревоженным. Это проявлялось в медлительности — он оттягивал момент выхода из дома: то выйдет бесцельно на улицу, то вернётся, сядет за стол, бросая на меня пристальные взгляды.

Ушли вдвоём с матерью.

Я не мог найти себе места. Беспокоиться было из-за чего.

Год на дворе был...

Хотя какая, в сущности, разница, какой именно был год на дворе. Для основательного беспокойства вполне достаточно того, что этот двор находился на территории нашей страны.

Я остался с Валькой в качестве няньки. Брат был игрив и, не чувствуя остроты момента, увлечённо занимался своими детскими делами. Я же всё чаще подходил к кухонному окну, высматривая возвращение родных фигур. Двух... или одной.

Пропустил их появление. Увидел, когда они под ручку подходили к дому. На душе как-то разом отпустило.

Отец пришёл навеселе. И повод был. Молча, под гордым взглядом матери, он бережно достал из коробочки отливающую холодным серебром медаль «За боевые заслуги».

Это был для нашей семьи праздник полного выдоха, освобождающий от вечного ожидания беды. День Победы, наконец, пришёл и в наш дом.

Почти не помню этого последнего лета свободы. Как на вокзале в ожидании поезда. Тягомотина. Лиля уезжала поступать в медицинский, пригласила на проводы. Я почему-то не пошёл. После этого наши отношения вышли из категории романтических и, будто споткнувшись, пошли на спад. Сошли на нет. Прекратились. Она уехала без объяснений, а я собрался в наш «Новгород» — город Горький.

Я словно видел перед собой дверь, которая медленно закрывалась, предлагая мне на выбор: выйти или остаться...

Решил выйти.

Я уходил из родного дома, не обернувшись, не усомнившись ни на миг. Не предполагая, что смогу вернуться в него только через десять лет.

Именно сюда, в родительский дом, я привёз из Карелии свою молодую жену. Тут народился наш замечательный сын.

На родном пепелище, как на исповеди, дописываю я сейчас эти строки. Только здесь моя душа обретёт свой покой.

**Горьковская область,
Варнавинский район, деревня Анисимово, 1995 год**





Я с волнением дочитывал последние строчки пожелтевших страниц рукописи отца.

Это даже мало похоже на текст...

Я будто бы долго всматривался в помутневшее от времени зеркало. Оказывается, у нас так много общего, что становится не по себе!

Отец свою жизнь считал яркой. Не знаю...

Расцветку с таким незатейливым легкомысленным рисунком у них в деревне принято называть «баской».

Отец с мамой такие разные, но вместе они — это я.

Как две шестерни в волшебных часах.

Хочется понять, как этот слаженный гармоничный механизм был устроен. Жаль, что подобное желание возникает, когда потеря необратима. И вот уже каждая буква, сохранившая биение их сердец, на счёт!

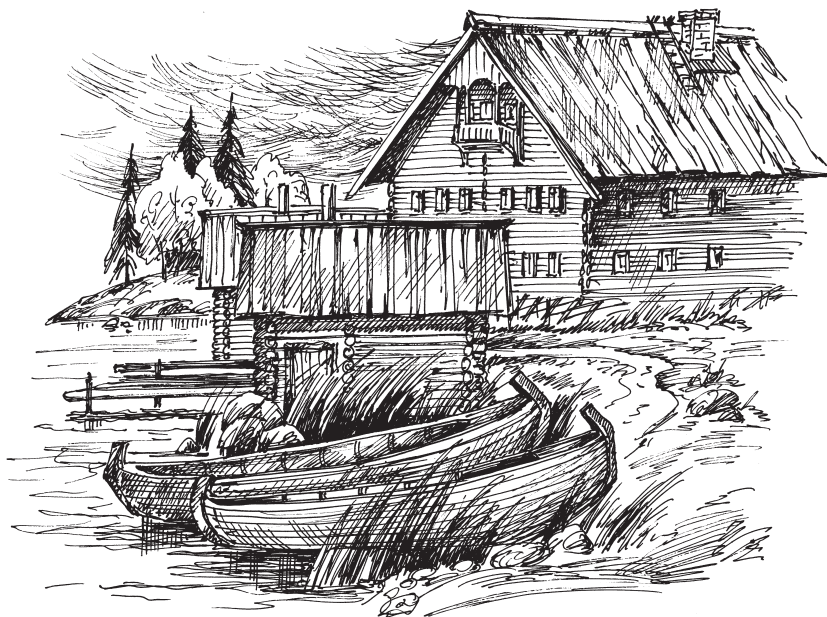
Хочется лучше понять свою страну. Ведь и это — тоже я!

А понять непросто...

Почему такая великая и могучая держава, как Советский Союз, развалилась не под натиском внешней агрессии, не в результате вооружённого переворота, а так... под своим весом.

Тихо.

Следом воспоминания мамы — Костюниной (Яковлевой) Ольги Андреевны. Название какое-то неожиданное — «Утка с яблоками».



Утка с яблоками

...Утку тщательно ошпарить, опалить, выпотрошить, натереть солью внутри и снаружи, нафаршировать кисло-сладкими (лучше антоновскими) яблоками, нарезанными дольками. Затем положить утку на противень и жарить в духовке, поливая собственным соком.

Из рецептов русской кухни

Иногда в темноте приляжешь, закроешь глаза, и откуда-то издалека всплывают в памяти эпизоды детства. У меня оно было по-своему памятным.

Родилась я в глухой карельской деревне Куккозеро.

До меня на белый свет появились брат и сестра. Первенец — Петя. Он умер в двухлетнем возрасте. Клава тоже жила недолго. (Мама считала её красавицей.)

Трудно сказать, кому из нас троих больше повезло. Господь отвёл их от мук.

Когда я была совсем маленькая, то ходила между ног у взрослых, задирала голову вверх, глядела на них и удивлялась: «Как им не страшно там наверху?» У меня-то пол близко. Один раз решила проверить: забралась на лавку, оттуда на стол, встала, глянула вниз...

Мамочки!.. Ужас какой.

Я думала, что никогда не смогу подняться так высоко.

Тридцать третий год...

Как во сне, помню сцену, когда забирали отца. Вой, крики, стоны, слёзы. Папа несёт меня на руках по лесной дороге. Мне три года. Понять не могу, что происходит, но папино волнение невольно передалось, и я начинаю хныкать.

Ещё эпизод: нас везут на каторгу в переполненном вагоне.

Горя я не чувствовала. Помню только, что всю дорогу мы ели вкусную жирную селедку. Потом хотелось пить. «Телятник» подолгу стоял в тупике. На одной из станций я даже на время потерялась.

Отца отправили в концентрационный лагерь, в Заполярье, а нас с мамой на поселение в Сибирь. Приехали на место. Вокруг тайга. Жильё — барак с нарами. Спали вповалку, не разбирая своих и чужих. Маму и остальных взрослых сразу увезли на дальнюю базу валить лес. Я осталась без мамы. С чужими больными и старыми людьми.

Первые уроки русского преподавал мне чахоточный парень. (Дни его были сочтены.) Он постоянно находился в бараке. Играл на гармошке, пел частушки. Одной запевке он охотно обучил и меня. Я, карелка, не понимала смысла слов, но сразу подкупила мелодичность незнакомого языка:

*На х..й, на х..й мне жениться,
на х..й, на х..й мне жена:
куплю новую тальяночку,
бутылочку вина.*

В одной рубашонке, босоногая, я задорно отплясывала под гармошку. Так всем хотелось угодить и понравиться, не могу...

Произношение поначалу было не очень, но когда через два месяца состоялось свидание с мамой, я свободно, без акцента, отчеканила номер своей программы. Мама расстроилась: «Чему учите ребёнка?» А мне сказала: «Оля, никогда не пой, это плохие слова».

Восковой, болезненный парень не был злым. В бараке меня никто не обижал. Да там никому до другого и дела-то не было. Люди со своей бедой не успевали... Не помню, чтоб меня кто-то укладывал спать. Наверное, сама забиралась на нары — и без колыбельной. Под одеялом тепло, как в пуховом гнёздышке. Лежишь и слышишь, как дурит за окном вьюга, стучится к тебе. Но здесь, на людях, совсем не боязно. Сожмёшься комочком — и засыпаешь.

Иногда мама брала меня с собой в лес, в таёжную избу. Пока все на работе, я одна...

Вечер.

Темно.

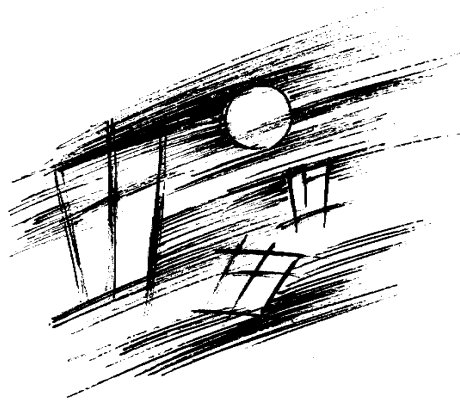
Огненные блики, вырываясь из печки, беспокойно мечутся по стенам. Ветер зло подвывает.

Ой!.. В сенях вроде скрипнул кто-то...

Страшно.

Нет ничего страшнее страха.

Заберусь в овчинный тулуп, что висит над нарами, и стою — не дышу. Скорее бы мамочка пришла...



Позже мы переехали в село Берензас, нас поселили в отдельном доме. (О том, куда девались прежние хозяева, не спрашивали.)

Предгорье Алтая называют иначе Горной Шорией.

Рядом глухая тайга и горы! Коренное население — шорцы, охотники и рыболовы. «Глаз узкий, нос плоский — совсем русский». Приходили, предлагали рыбу, но покупать было не на что.

Ярким светлым пятном в сознании любого рано осиротевшего ребёнка остаются образы наставников и учителей.

Сидоров Иван Петрович, завуч нашей Берензасской школы. Он тоже обучал меня русскому языку. Было сложно, но очень интересно. «Фольклор», «поэзия» — эти слова впервые мы услышали именно из его уст. Он выразительно читал по памяти стихи. Это интриговало нас, побуждало самим найти книгу и прочитать. И искали. Если не находили в школьной библиотеке, то шли к нему в кабинет, и он давал нам свою.

У меня была особая причина любить Ивана Петровича. Он жил по соседству, в учительском доме, и изредка приглашал меня в гости. Обязательно угощал всякими конфетами, давал журналы полистать, картинки посмотреть и, одарив яркими коробочками, скляночками, провожал. Иду обратно и радуюсь: я, как путняя, была в гостях по приглашению!

Иногда он оставлял меня одну. Почитаю-почитаю и приберу в его холостяцкой комнате, где, кроме книг, ничего больше не было. Вернётся и обязательно похвалит:

— Спасибо, моя юная хозяйюшка! — он даже благодарил не как все.

Сама я боялась его беспокоить, а то бы прибежала каждый день. Его беседы о профессии педагога заронили желание самой стать учителем и обязательно, как он, филологом. Иван Петрович называл свою специальность человековедением.

На войну мы его провожали всем классом. За двенадцать километров, до самого переезда.

Провожали насовсем...

Не могу забыть я и школьного сторожа — бородатого старичка, как из доброй сказки.

Школа была на отшибе села. Зимой в сорокаградусный мороз пока дойдёшь, руки озябнут. Он ласково возьмёт их в свои большие ладони и давай потихоньку, нежно, отогревать, пока не запылают. Потом откроет печную дверь, посадит около и сам сядет.

Никого ещё в школе нет. Тихо. Темно. Сидим вдвоём рядышком, смотрим на огонь. Жар приятно румянит лицо. Хорошо.

Беседуем на равных.

О премудростях жизни, о добре и зле. Но больше о добре.

И так, пока кто-нибудь не придёт.

Я всегда просыпалась самостоятельно, рано. Часов не было, радио ещё не говорило. В школу приходила первая. Есть что-то в этом слове притягательное — «первая». А может, доброта сторожа тому причиной. И мне хотелось ласки. Хотелось прижаться к сильной, надёжной, открытой душе. Почувствовать себя защищённой, что ли...

Пусть хоть на миг!

У других детей для этого был папа...



С седьмого класса с нами занимался военрук. Учил мальчишек и девчонок с завязанными глазами разбирать и собирать автомат, окапываться. Мы разбивались по пять человек на «звёздочки» и соревновались — кто быстрее. Были случаи, когда он ударял сапёрной лопаткой по оттопыренной заднице ученика, спрятавшего только голову, и сокрушённо замечал:

— Ты тянешь свою «звёздочку» назад!

Я не помню, чтобы девочек учили шить, вязать или готовить.

Не нужны были мужчины и женщины. Нужны были отважные бойцы. Бойцы без пола, без индивидуальных особенностей. Всё остальное — буржуазные сантименты, отдаляющие победу мировой революции.

Из одноклассниц я помню только Валу Ласкину — отличницу. Мы с ней вдвоём перешли в восьмой. Средняя школа находилась за несколько километров, в городе Осинники.

И ещё хорошо помню Валиного отца. Уполномоченным был. Фамилии своей он едва ли соответствовал... У него была возможность отвозить свою дочь в школу на лошади. Догонит меня на санях по глубокому снегу да, поравнявшись, ещё подстегнёт лошадь, чтоб бежала резвее. Не успеешь с тяжёлой котомкой за плечами вовремя отскочить в сторону — собьёт.

Клеймо «дочь врага народа» было поставлено, казалось, навсегда. Как мишень для стрельбы на лагерной фуфайке.

Ох, и наревусь потом вволю... дождавшись, когда отъедут.
Одна, в предрассветной тайге.

Мама в детстве окончила четыре класса церковно-приходской школы. Четыре, но зато с похвальной грамотой. При наличии такого багажа знаний она считалась среди ссыльных одной из самых образованных.

Наш дом напоминал бесплатную юридическую консультацию: одна просит помочь разыскать детей, уехавших на встречу с отцом в Финляндию, — в дороге их настигла война; другая — написать ходатайство о выезде на родину, в Карелию, ввиду гибели сына-офицера; третья — заявление; четвёртая — деловое письмо в сельский Совет.





*Среди ссыльных карелок не было ни одной грамотной. Вот их фамилии:
Ильина, Гюбиева, Терентьева, Чусова, Васильева, Ретукина.
Все они тоже были шпионами, как я с мамой.
Жили мы дружно. Чего делить — беда одна на всех.*

Жили, с гордостью распевая величавые гимны стране, «где так вольно дышит человек».

В детстве приходилось не только учиться, но и работать.

Много работать.

С третьего класса мы вместе со взрослыми целое лето были в поле: вязали и грузили снопы; молотили, веяли и сушили зерно на току; сгребали в копны сухое сено. Мальчишки, сидя верхом на лошадях, на волокушах возили копны к скирдам.

Хандрить и унывать было некогда.

С поля вернёшься — спешишь в огород. Мама ежедневно обходила участок — проверяла порядок. Если проходила молча — значит, всем довольна.

А я-то... Заглядываю вопросительно в глаза — жду похвалы. Но не было такого раза, чтобы она сказала: «Какая ты у меня умница, помощница, труженица!» Эти слова я мысленно сама себе говорила, следуя за ней по пятам. Тогда твёрдо решила: «Я своих детей за всё, за всё хорошее буду хвалить». Мама, думаю, просто боялась расслабить, изнежить меня.

Если бы она только знала, как нужна была её ласка!

Хоть самую малость.

И дом был на мне. Утром испеку, как умею, хлеб; приготовлю еду; соберу узелок для мешочника — так звали человека, который отвозил обед для работающих на базе. Мою холщовую сумку рассматривали там особенно тщательно:

— Ну, Шура, показывай, что твоя стряпуха приготовила?..

Хлеб, может, и не всегда удавался гладким, красивым, но остальное щедро уложено: молоко, три яйца, сваренных вкрутую, огурец, помидоры, баночка тыквенной каши. Кое-что менялось изо дня на день. Мама передавала одобрительные отзывы односельчан. Услышу приятное — и ещё больше рада стараться.

Список дел для меня на весь рабочий день записывался в сенях на стене. По исполнении задание вычёркивалось. Вечером всё соскребалось, на другой день — по новой. Иногда пункты повторялись. Контроль был полный.

Мне кажется, я умела всё.

Может, поэтому после пятого класса меня взяли поварёнком в тракторную бригаду на Ближний баз. Мужчины работали в три смены, а я их кормила. Чтобы оправдать доверие взрослых, старалась вовсю.

Помню, обед был готов, оставалось свободное время. Я решила проявить инициативу — подать на десерт, как сказали бы городские, клубнику. (Горные склоны просто усыпаны ею.) Набрала полное ведро ягод. Овсяный кисель ели с холодным молоком и свежей клубникой. За находчивость и старание мне объявили благодарность в вечерней «Молнии». Через наш баз шли и со Среднего, и с Дальнего. Все читали, хвалили.

Вот оно какое, настоящее-то Счастье!

На Среднем базу поваром была девушка постарше, так я подбила её ночью, при луне, вязать снопы. Все проснутся: «Кто это, мол, так постарался?» А это мы... Мы!!! (От мала до велика энтузиазм тогда проявляли непоказной.)

Обильная роса, стерня не ломается — благодать. Мы вдвоём за ночь связали тысячу снопов. Наутро радости-то всем было! Кроме того, что начислили трудодни, нас ещё особо отметили в колхозной «летучке». Боже, сколько потом разговоров было!

Пролетело лето. Зима.

Пурга своим снежным колючим покрывалом укутала горы и долины. Всё живое в природе замерло. Отдыхает. Набирается новых сил. Ждёт весны. Природа расслабилась, а люди... Для человеческой заботы нет межсезонья. Работы всегда хватает. И в студёную пору тоже. На всю зиму мама переходила на работу в пимокатную. Благодаря ей я носила на танцы в сельский клуб лёгонькие белые фетровые валеночки. В вихре вальса они скользили не хуже тупфель. Земли не чувствуешь под собой, когда с партнёром кружишься.

Это если с желанным, конечно.

В выходной, слегка морозный день ездили за сеном. Ответственная работа. Стог метать надо умело, не абы как. Иначе дорогой сено рассыплешь. Я наверху. Бастрыком нужно сильно прижать копну, а во мне, ребёнке, сколько веса, столько и силы.

— Оля, нажимай сильнее!

— Мамочка, я изо всех сил стараюсь — не получается...

— Ну, слазь тогда. Помоги натягивать верёвку.

Мать и наревется, и вспомнит соседку, у которой взрослый сын, и отца, которого рядом нет, и пожалеет, что Петя, первенец, умер. Что же это такое, господи?..

Но сколько ни реви, воз-то надо укреплять! Окончательно разозлившись на свою беспомощность, мама упирается ногами в сено, параллельно

земле, и копна, как по волшебству, прижимается.

Воз готов! В путь.

Пути-дороги памятны мне.

Дальние, трудные, но со временем ставшие такими родными, они были духовниками моих мыслей и чувств. Много километров по Сибири пришлось перемерять пешком, с сидорком на спине. Плечи, кажется, с тех пор и болят от всех поклаж и ремня.

В детстве я получила спартанское воспитание: у мамы никогда не было привычки целовать меня при расставании. А прощаться приходилось часто. Слишком часто. Мама провожала за калитку, а я, удаляясь, махала ей рукой и пела всегда одно и то же: «До свидания, мама, не горюй, не грусти, пожелай нам доброго пути!» Она плакала, будто я уходила навсегда.

Вспоминаю, как один раз, в слепую пургу, шла я одна из Осинников домой. В лесу намело. Ноги вязнут в снегу. Темнеет. Ветер усиливается. Тону местами по пояс, выбиваюсь из сил. Валенки с каждым шагом вытаскивать всё трудней и трудней. Решаю двигаться в сторону основной дороги, что ведёт на баз.

Не дойти...

Опустилась отдохнуть. Обманываю себя — на секундочку только. Кружится голова. Пальцы на руках, как чужие, не слушаются. Одежда покрылась ледяной ломкой коркой. Равнодушие к происходящему потихоньку вытесняет волю...

Неужели конец?!

Эта мысль разбудила, добавила сил. Кое-как встаю и по шажку еле-еле двигаюсь. Сама себе приказываю: «Не смей расслабляться, только вперёд! Ты должна выстоять!»

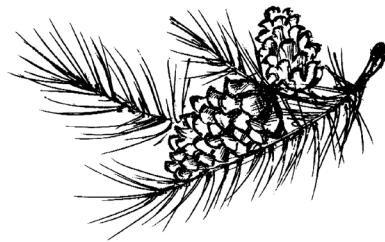
Домой попала далеко за полночь, чуть живая. Мама испугалась, натёрла меня тёплым самогоном и ещё выпить его дала с мёдом и малиной. Уложила на горячую русскую печку. Укрыла тулупом. Всю ночь я металась в бреду, силясь выбраться на дорогу. Мама не спала.

На другой день утром я опять в пути.

Чудо какое-то!

Май 45-го года.

Весна в Сибири вообще яркая, а эта особенно.



Всё оживает. Горы обнажаются и становятся романтически-восторженными. По склонам наперегонки друг с дружкой бегут задиристые ручьи.

А тайга?! Сейчас такая разная и загадочная, чистая и целомудренная. Небо высокое-высокое, а солнце при этом с каждым днём ближе. Тепло становится!

В душе тоже происходит обновление. Хочется жить и совершать благородные поступки. Петь хочется. После морозной зимы обострённее чувствуешь красоту. Может, поэтому вставать в шесть часов нетрудно, наоборот, даже интересно: раньше встанешь — больше узнаешь.

Как раз в такое время мы вдвоём с мамой и заготавливали за речкой Берензас на зиму дрова.

На дорогах наст. В глубоких ложбинах лежит ещё не тронутый солнцем снег. Сочное дерево хорошо пилится и колется. Валили сразу по десять — пятнадцать осин. Сучки срубала мама. Я их носила и складывала в огромную кучу. Деревья, сваленные последними, оказывались наверху. Их было легко пилить, полотно не зажимало.

А вот после того, как верхние брёвна распилены, начинаются адские муки для мамы: помощница ни дерева поднять, ни вагу, где надо, подсунуть не может. Бывало, мать, надрываясь, сдвинет бревно и, выбившись из сил, горько заплачет.

Я стою, молчу. У самой слёзы близко...

Выплачется, смахнёт рукавом горечь и опять за работу:

— Теперь легче, давай попробуем.

День Победы застал нас в лесу за этим занятием.

Смотрим: верхом нарочный летит. Ещё издали с радостным криком:

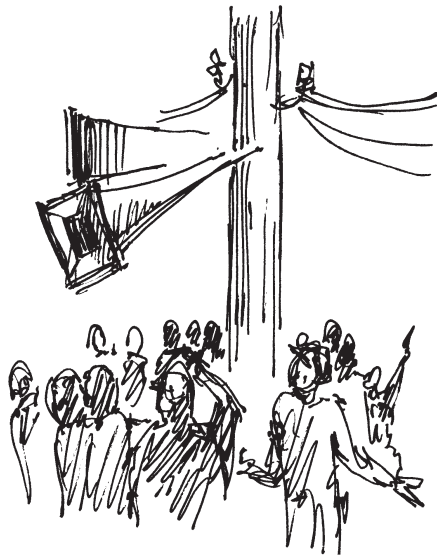
— Шура, победа!!! Собирайтесь на площади у клуба леспромхоза, за всеми уже поехали. Будем праздновать!

День солнечный, весёлый, народ принарядился. Музыка. Кто обнимается и смеётся, кто плачет: по убитым, по утраченной без мужа молодости. Таких — большинство.

Это был единственный день, когда никто не работал. День всеобщей радости, ликования, весёлого буйства и ощущения долгожданной личной победы.

Папа.

Что я знаю о нём из рассказов?



Воевал на Гражданской. Был награждён серебряными именными часами за личную отвагу. Маму ездил сватать в соседнюю деревню Щеккилу на тройке лошадей, запряжённых в расписную лёгкую пролётку.

Жених на зависть: высокий, стройный, красивый. Прекрасный хозяин. Единственный сын у богатых, по тем меркам, родителей. Испокон веку семья занималась выделкой кожи.

Советской властью мой дед Андрей был приговорён к каторге. Как и большинство тогда — за шпионаж.

Мою бабушку и мою маму заклеями на всю жизнь штампом «врагами народа», обрекли на великие муки и лишили права на счастье.

Заключённые, нечаянно не посаженные, условно освобождённые — из этих сословий и состояло первое в мире пролетарское государство. Наиболее цельные, яркие, талантливые представители народов, из числа входящих в Союз, в первые годы после революции были высланы за границу или уничтожены.

В стране действовали законы противоестественного отбора.

Наши родители были назначены самой жизнью своей удобрить землю, на которой в будущем расцветёт и начнёт плодоносить сад всеобщего благоденствия.

Этакие райские кущи на костях.

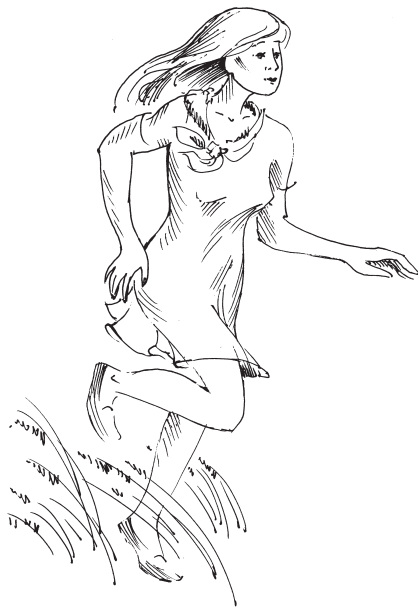
А в тени деревьев можно будет не спеша пить чай с вишнёвым вареньем, выплёвывать косточки на погост и мечтать о чём-нибудь возвышенном...

Полностью реабилитирован дед был только в пятьдесят восьмом «за отсутствием в его действиях состава преступлений».



А «присутствием» тогда чего?

В лагере, когда уводили каждого десятого, он всякий раз оказывался в числе девяти. На его глазах расстреляли свояка, мужа маминей сестры тётки



Мани. Попроцаться смогли только взглядом. Осуждённый на десять лет, он отстучал четырнадцать. Во время Отечественной войны папа просился в штрафной батальон. Не разрешили... Заставили подписать особую бумагу о добровольном желании остаться в лагере.

В сорок седьмом, весной, он вернулся.

Если бы домой... В место ссылки семьи.

Навигации до июля ждать не стал: добирался пешком восемьсот километров — от одной деревни до другой. Остановливался у местных жителей, чинил обувь, латал крыши. Хозяйка дома собирала котомку — и снова в дорогу. Так папа и прошёл весь путь. И худой, как живые мощи, явился к нам.

В тот день я на горе поднимала лопатой целину, расширяя полосу пахотной земли. Сверху дома видны, как на ладони. Смотрю, бежит ко мне девчонка и яростно размахивает руками.

Подбегает. Бессвязно, путаясь и плача:

— Твой отец из тюрьмы в шинели пришёл!

— В какой шинели, какой отец?! — волнуясь, вскричала я.

А сама бегу уже во весь дух с крутой горы.

Папа навстречу.

Слились...

— Папа, я так тебя всегда ждала! — только потом я поняла, что осознанно обращаюсь к нему впервые.

Стоим, обнявшись, на перекрёстке дорог. Отовсюду стекаются соседи.

Опомнилась я после слов старика Морозова:

— Оля, баня затоплена, есть ли во что переодеть отца? Я и одежду бы собрал.

Есть. Мы сберегли для него.

Папа, намывшись, облачился в чистое и вышел к людям.

Кто-то послал нарочного на базу сообщить маме радостную весть.

Мама всю дорогу бежала, покраснелась, волосы растрепались, но от этого она стала ещё красивее. Молча прижались друг к другу. Не целуются. Стоят в центре, а народ столпился большим кругом.

*В голос ревут все.
И женщины, и мужчины...*

По случаю возвращения устроили праздник. Нашлось спиртное, да и закуску было из чего приготовить. Несколько пар рук намывали, шинковали, жарили. Быстро накрыли столы прямо на улице, и все начали веселиться, словно это их мужья вернулись.

Глядя на родителей, я гордилась своими корнями. Восхищалась родительской чистотой, их умением любить преданно.

Меня, восьмиклассницу, поражало то, что за четырнадцать лет тюрьмы отец не утратил умения быть нежным. Из бани, которую он построил вскоре за домом, приносил мать на руках. Я с улыбкой наблюдала за своим влюблённым в маму отцом (мне родители казались старыми).

При нём мама сразу как-то расцвела, пополнила. Папа взвалил самое тяжёлое на свои плечи. С большим хозяйством забот и дел хватало. Летом он устроился работать на тракторе в леспромхоз: возил доски, брёвна, с охотой брал в руки топор.

Не зря Ленин писал: «Карелы — народ трудолюбивый! Я верю в их будущее».

Отцу за работу были положены хлебные карточки. Подошло время рассчитывать — не выдали...

— Хлеба ему захотелось? Пусть спасибо скажет, что живой!

Только не знали мы тогда — кому именно сказать спасибо?

Пришла пора идти на работу и мне. Никто не понукал.



Необходимость — лучший стимул.

Я устроилась в Осинниках на шахту. Сняла для жилья койко-место у незнакомых людей. Из Берензаса не успеть — далеко. На работу к шести утра.

Одновременно училась в школе рабочей молодёжи. С утра — на работе, вечером — за парту. Шесть месяцев без отрыва от производства осваивала специальность моториста подземных транспортёров, постигала технику безопасности. В итоге могла самостоятельно управлять лебёдкой, грузить уголь с ленточного транспортёра, откатывать техникой вагоны, сланцевать лаву, пользоваться насосом, следить за работой мощных вентиляторов. Я потом даже заменяла сальники, не ожидая слесарей, чтобы техника не простаивала.

Каждый рабочий день начинался с получения наряда.

Что такое наряд?

За два часа до начала работы приходишь в кабинет начальника участка и узнаёшь о задании на день. Здесь докладывают об авариях за предыдущую смену. Тут же обычно проводится политминутка, во время которой все как один подписываются на государственный денежный заём в размере месячной оплаты. Решение это добровольное, а не то что «хочу — подписываюсь, хочу — нет».

Получив задание, идём надевать комбинезон, получать каску с фарой, аккумулятор — подзаряженный и проверенный заново. И на клеть — в лифт, чтобы опуститься на восемьсот метров под землю.

Если высота лавы, или, иначе, самого угольного пласта, небольшая, то сланцевать, очищать лаву от оставшегося угля, подтаскивать затяжки, чтоб крепить кровлю, приходится ползком, лёжа.

Бывало, развалишься себе, как барыня...

Выходит, шахтёр — вторая женская профессия, которая позволяет зарабатывать деньги лёжа. Но она не является древней. Это — завоевание Советской власти.

Я — ученица девятого класса — единственная из девушек работала в забое. Кругом одни мужики. Мат в воздухе стоит — глаза щиплет...

Дядя Федя Выглов попросил принести «коня».

Я решила, что предмет внешне должен хоть чем-то его напоминать. Ничего похожего не нашла. Так об этом честно ему и доложила, вернувшись обратно. Он свирепо глянул на меня, пошёл в глубь лавы и притащил оттуда какую-то ржавую проволоку. Трясёт ею у меня перед самым носом (чтоб лучше рассмотреть могла) и на весь забой:

—Что ё.....?!

Так обидно стало, что я заплакала.

Дядя Федя не ожидал: растерялся, обмяк как-то весь. Не видел ещё такого чуда под землёй. И как бы извиняясь:

— Ну что ты... Оля. Это же просто вводные слова. Через год ты будешь ругаться хлеще моего. Хочешь — научу!

Оказывается, для шахтёров «конь» — это вовсе не крупное копытное животное, как я думала. Это всего-навсего тросик с петлёй на конце, чтобы таскать затяжки для укрепления лавы.

Теперь я спокойна. После такого урока уже не забуду.

Педагоги — прямо от Бога!

Смена закончилась. Теперь ещё как-то нужно самой добраться до клетки, подняться на-гора, принять душ, сдать лампы на проверку и аккумулятор на подзарядку.

Всё.

Устала.

Сейчас бы на квартиру, поужинать и отдохнуть, а тут школа. Поест спокойно некогда. Обходилась кружкой холодной воды (чай мы в Сибири не пили) и на ходу куском хлеба с копчёной колбасой. Кормили рабочих теперь заметно лучше.

Однажды я опоздала на работу: пришла не в шесть часов утра, а около восьми. Я к начальнику участка Чепелю.

— Извините, я проспала...

— Иди, досыпай!

Со слезами выскочила из кабинета. Хорошо, слесари заступились:

— Николай Николаевич, она живёт на чужой квартире, занятия в вечерней школе заканчиваются ночью, пока поужинает. Тем более, это впервые.

Я за дверью стою, сквозь рёв прислушиваюсь.

— Яковлева, зайти!

Простил. Хотя имел полное право посадить в тюрьму.

Вспоминая о шахте, не могу смолчать о постоянном гнетущем ощущении: на тебя непрерывно давит тяжёлый, чёрный каменный свод. На голову, на грудь, на глаза. Спирает дыхание...

Чувствуешь себя совсем маленькой и беспомощной.

На основном штреке ветродуй. К этому тоже не скоро привыкаешь.



Трудно молодой девчонке преодолеть и страх постоянной смертельной опасности.

Завалы. Сколько людских жизней смолкло под предательски обвалившимися пластами. Если бы все погибшие разом ожили — земля бы зашевелилась в тех местах...

Зачем выдумывать ад? Спусти-тесь в шахту!

Рискуют жизнью все рабочие, но особенно посадчики лавы.

Уголь весь отгружен, пласт закончился. Осталось только ловко сбить деревянные опоры, которые до недавнего времени поддерживали земной небосвод, — и «всего делов».

Смельчаки, особый отряд, должны топором с одного удара выбить столб и бежать ко второму, третьему — в сторону выхода, наблюдая, как пространство, которое ты только что занимал, перестало существовать, проглоченное обвалившейся землёй.

Не всегда и не все успевали вырваться из этой преисподней.

Иногда грунт, как своенравный разбуженный гигант, оползает не только там, где сбиты столбы, но и слева, и справа.

Везде...

Везде, и даже там, куда ещё только должны следовать посадчики, пробираясь к выходу. И вот тогда неподъёмная, чёрная бездна навеки поглощает и воздух, и свет, и жизнь, превращаясь в могилу. Посадчикам лавы перед началом работы давали для смелости спирт.

Считалось дурным тоном задумываться о фактической стоимости такого угля. Людей в стране хватало. Спирта тоже.

Конечно, те, кому не нравилась работа в шахте, могли, не дожидаясь пенсии, покинуть подземку. Но для этого нужно было сначала стать... беременной женщиной.

Других вариантов не существовало.

Наступила пора сдачи государственных экзаменов в школе.

И тут — на тебе!

Чепель сообщил: вышел указ, разрешающий увольняться квалифицированным рабочим из шахты для поступления в высшие учебные заведения.

Господи! Учиться на филолога — моя сокровенная мечта.

Чтоб папа дал мне добро оставить работу, я пригласила его к себе в Осинники в гости. Купила бутылочку, угостила хорошо и получила-таки согласие.

Вступительные экзамены в институт сдала на «хорошо», географию — на «отлично»: попались «угольные разрезы». Члены приёмной комиссии многое сами впервые узнали от меня. Шахтёрская пыль глубоко и надолго въелась в кожу рук. А веки — как тушью подведены. Полностью только ко второму курсу отмылась.

Лето пятьдесят третьего года.

Я, как и мечтала, — студентка педагогического института. Второй курс позади. Счастливая, я не подозревала, что сразу по достижении шестнадцати лет меня поставили на особый тайный учёт.

Наверное, весь период учёбы в институте мне не доверяли. За мной следили и доносили. Наушничали. Зачем? Мы настолько были преданы товарищу Сталину, что его смерть все восприняли как страшное, личное горе. Невосполнимую потерю.

Да, он был строгий, но как по-другому? Сталин для всех был не просто хороший.

Он — ЕДИНСТВЕННЫЙ!

Выбора просто не существовало!!! Люди слепо готовы были идти по следам его копыт на любые сомнительные дела. И все дела, на которые он вёл, становились правыми.

Он заменял собой Бога, он заменял царя, он был многим вместо отца. По одной простой причине: заблаговременно Бога, царя и во многих семьях отца — он уничтожил.

Ну а дальше, пользуясь словами махровой антисоветской книги:

И стал Таракан победителем,
И лесов и полей повелителем.
Покорилися звери усатому...

В течение долгих десятилетий руководство страны проявляло в отношении отдельных категорий своих граждан немотивированную жестокость, как сказали бы сейчас. Но никто не возмущался. Напротив, подобные действия власти



единодушно одобрялись. Юноши и девушки дружно вступали в ряды правящей Коммунистической партии, которая до этого репрессировала их родителей, становились активистами. Это был сознательный и ответственный шаг для каждого посвящённого. Отказ в приёме наносил соискателю неизлечимую душевную травму. Исключение из партии делало продолжение жизни бессмысленным.

На очередную вспышку насилия народ откликнулся новым трудовым почином и становился при этом всё счастливей и счастливей.

Процветал мазохизм.

Всей группой мы сфотографировались с траурными бантами на груди. И это не было лицемерием. Мы, студенты, ночи не спали, волновались, достойный ли будет преемник?

Как вообще теперь ЖИТЬ?

Декан факультета, всегда строгий, недоступный, на митинге плакал. До этого мы считали Ивана Александровича бесчувственным человеком.

Первые студенческие каникулы.

По настоянию родителей еду на лето в Карелию, на родину. По адресу нашла маминого брата — дядю Сеню. Встретились. Я сразу подметила в его лице мамы черты. Спазм перехватил горло, ноги подкосились, слёзы навернулись на глаза. Не выдержала тяжёлой паузы:

— Дядя Сеня, не узнаёшь? Это я, Оля.

Он порывисто прижал меня, и мы долго стояли и рыдали в дверях. А затем до утра просидели за столом — душами тёрлись.

На выходной мы договорились ехать с ним в Щеккилу к бабушке и дедушке. Но получилось иначе: зашёл Ваня, мой двоюродный брат, он на рабочей машине отправлялся туда сейчас. Решено было ехать не откладывая.

— Я скажу бабушке, что ты — моя жена...

К дому он повёл меня огородами (позже я узнала: старики по этому признаку безошибочно определяли, кто идёт: местные или гости издалека).

Только зашли, он сразу с порога по-карельски:

— Бабушка, познакомься, моя жена. Нравится тебе?

Та, держась за шесток, медленно выпрямилась, стала вровень со мной и начала молча вглядываться. Я не выдержала, зарыдала, обняла её худенькую фигурку и сквозь плач сообщила, что я из Сибири... Оля.

Теперь воем завывали все, кто был тут. Прибежали с улицы соседи, родные. Они смотрели на меня, как на пришельца с того света. Сибирь им представлялась какой-то ненасытной адской машиной по уничтожению людей. Ведь и до меня многих увозили, но ещё ни один на родину не вернулся. А тут перед ними стояла девушка, модно одетая, стройная, худенькая и... родная.

Утром, когда солнце поднялось высоко, дедушка подсел к окну и попросил меня подойти поближе.

— Внучка, встань так, чтоб я увидел, какая ты.

Я с удовольствием выполнила его просьбу.

— Хорошенькая, вся в дочку.

К дедушке я испытывала особую нежность и, как могла, заботилась о нём. Вечером выискивала насекомых у него на голове, расчёсывала волосы. Он опустит голову на мои колени и задремлет, я не тревожу, пока сам не проснётся. Разволнуется, как бы мне не было брезгливо. Милый дедушка, безграничная любовь к близкому человеку не оставляет места для иных чувств.

Мы были нежны друг с другом. Видно, чувствовали: это наша последняя встреча. Прощаясь, я потеряла сознание у него на груди.

Как жаль, что в жизни не было такого друга рядом!

В этой же деревне жила старшая мамина сестра тётя Маня. Она угощала меня разными национальными блюдами. На столе: горячие калитки, сульчинат, кейтин пийруат, тенчой.

Я по-карельски говорила с трудом. Многих слов не знала. Но мамино желание исполнила: «С бабушкой, с дедушкой, со своими говори на родном языке: им будет приятно». Ваня шутил:

— Не обращайтесь внимания: Оля только что из Америки, поэтому волка путает с медведем.

Из Щеккилы он отвёз меня в Куккозеро.

Моя деревня.

Здесь я родилась.

И где-то здесь в довольстве жили люди, по доносу которых папа был осуждён. Мысленно я давно их простила. Но простить — не значит забыть. И разум чувству в таких вопросах не судья.

Утро. Солнышко желанно встаёт.

На краю разнотравной широкой луговины, на самом взгорке, — деревенский погост. Православная часовенка при нём разрушена. (Там, по рассказам, меня и крестили.)

Из густой высокой крапивы едва выглядывает пара бревенчатых венцов да лежит на боку резная маковка, неловко уткнувшись, как после верного выстрела, в землю крестом.

Сутуло нависая, жмутся кругом вековые ели. Укрыли ажурной траурной накидкой тени место расправы, опустили безвольно свои разлапистые ветви и стоят, не шелохнутся.

Молча скорбят.

Идём по деревне не спеша.

В нашем доме разместили магазин. Мне ещё издали указали двухэтажные бревенчатые хоромы. Покосившийся дверной проём, как немо искривлённый старческий рот, зиял чёрной дырой. Два маленьких окошка подслеповато глядят на дорогу, остальные наглухо забиты.

Подошла ближе.

Капли росистой влаги робкими слезинками блеснули на оконном стекле.

Порог...

Так защемило сердце, когда переступила его. Грудью уткнулась в спёртую,

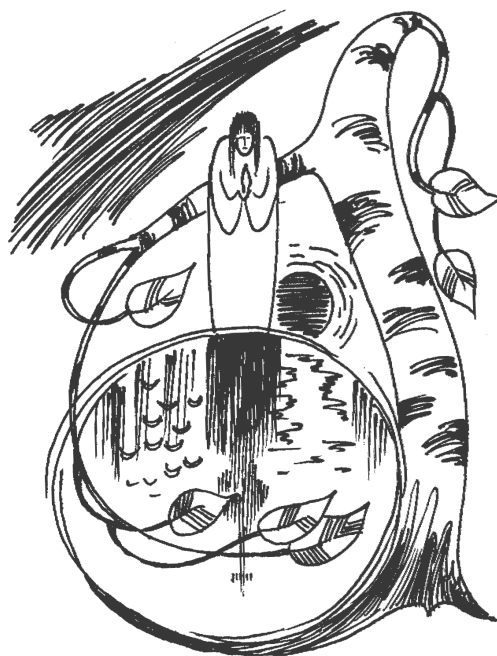
гнетущую тишину коридора. Едва переставляя свинцовые ноги, через силу, стала подниматься. Не то скрип, не то жалобный стон вырвался у лестницы.

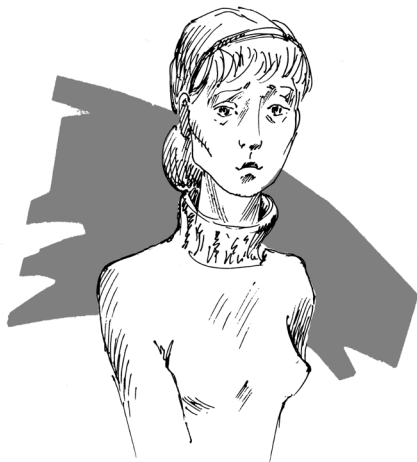
Да что же это такое?!

Остановилась в сенях. Всё. Дальше не могу.

Нечем дышать.

В сильном волнении вышла на улицу.





С раннего детства мечтала я о поездке на родину. Верила, что когда-нибудь она состоится. Ждала. Поехала, счастливая, к родным, а папа, оказывается, в это время обгорел в запылавшем тракторе. Развился рак. Всё лето отец мучился от ужасной боли. Тяжелобольного, его отправили в областной центр одного. Мама по-прежнему не имела права самостоятельно покидать пределы села.

Я ходила к отцу в больницу, носила куриный бульон. Он тогда говорил, что если бы поел уха из куккозерской рыбы, то непременно поправился бы. В больнице мы с ним подолгу откровенно

беседовали. Я хотела попросить прощения за свои резкие порой ответы, но не повернулся язык: постеснялась, что неправильно поймёт... Зря.

Двадцать второго апреля в два часа ночи папы не стало.

— Что вы?! Ни в коем случае, в такой день ничего траурного! В стране большой праздник — День рождения Великого Ленина.

Перед смертью отец долго звал меня. Но никто не сообщил в общежитие. Маму на похороны не пустили.

Огромное горе,
которое неожиданно свалилось,
казалось,
раздавит...

А жизнь почему-то продолжалась...

Вот и летняя сессия.

Экзамены, несмотря ни на что, надо было сдать на «хорошо». Иначе стипендии не будет. Вместе с ней не будет и учёбы. Следом педагогическая практика. Две смены в пионерском лагере на горной реке Чумыш и отряд мальчишек шестого класса зарубцевали боль.

Ночами мне снились «причастия» и «деепричастия».

Никто не помнил случая, чтобы в Сталинском государственном институте был всесоюзный выпуск. А в тысяча девятьсот пятьдесят пятом году на удивление всем состоялся. Направление на работу давали с учётом желания. Я в анкете указала Карело-Финскую ССР.

В мае пришёл вызов из Петрозаводска, и мы с мамой поехали на родину по-людски — в плацкартном вагоне. Всё лето были счастливые встречи, угощения, разговоры с родными. После смерти Сталина и мне, и маме можно было свободно переезжать из одной деревни в другую, не спрашивая ни у кого разрешения. Сколько хочешь переезжай! (Я думала, от счастья задохнусь.)

Как жила в Карелии?

Работала в сельской школе. Преподавала литературу и любимый русский язык. Старалась особенно чутко, внимательно относиться к детям, которые были лишены с детства, как я, отцовской ласки, внимания, защиты.

Вышла замуж не по расчёту. А всё, к чему относишься с любовью, не может не приносить страданий. Уж так повелось.

По убеждению вступила в Коммунистическую партию. Не желание сделать карьеру — искренняя вера в справедливость ленинских идей вела меня. Понадобились десятилетия, пока я заподозрила неладное... Избрали секретарём партийной организации. (Вот это уже было лишнее.) Чтобы остаться верным избранным идеалам, лучше не знать, из чего они приготовлены. Нельзя заходить «на кухню»!

Маме я не позволила устроиться на работу. Хватит. За жизнь намантулилась. Она сидела дома: варила обеды, вязала носки, ремонтировала одежду. Обработывала одна, не ожидая ничьей помощи, картофельное поле.

Здесь, на родине, она острее воспринимала обиду за то, что её тридцатилетний труд, колхозный, бесплатный, никак не оценён — отказали в пенсии. Это был для неё последний удар. Переживала, рассказывая всем о ссылке, об унижении на допросах в комендантуре, о клейме «жена врага народа». Участковый терапевт ошибочно поставила ей диагноз — рак печени. Положили маму в больницу и лечили сильнейшими препаратами.

Лекарства оказались опаснее предполагаемой болезни.

В больнице у неё появились первые признаки нарушения памяти и разума. Меня она стала называть сестрой или Петей. От высокого давления мама поседела. Таблетки, уколы ненадолго уменьшали боль.

Бюллетеня мне по уходу за матерью, разумеется, не дали.

Лежать мама не умела. Хлопотала по дому. Если становилось лучше, она снова шла в собес просить пенсию, но не встречала понимания нигде...

Она стала уносить из дому вещи и раздавать на улице. Прямо беда!

Пришлось закрывать её под замок до конца рабочего дня. (Это мою маму — одну из самых мудрых женщин, каких только я видела на свете.) И наревусь, и нарыдаюсь порой...

То уйдёт в гости к чужим людям. Однажды уехала куда-то и пропала. Я искала её, где только могла. В другой раз с вокзала, где она раздавала плетёные коврики пассажирам, её увезли в психиатрическую больницу. Через месяц сообщили: «Курс лечения провели, можете забирать». Муж поехал за ней в больницу. Рассудок у неё помутился окончательно. Мама, увидев зятя, разволновалась: «Чайку, чайку». Больно было видеть её, остриженную наголо. Врачи настаивали отдать маму в Дом престарелых, где медперсонал дежурит круглые сутки. Я бы посчитала такой поступок по отношению к ней предательством.

Мама теперь всегда была в хорошем расположении духа. Она жизнерадостно пела одну и ту же похабную частушку:

Эх, милка моя,
шевелилка моя!
Сама ходишь шевелишь,
а мне пощупать не велишь!

Соседские дети смеялись над ней, строили рожи, тыкая в её сторону пальцем. Просили спеть ещё.

И это была не чья-нибудь посторонняя женщина...

Это была Мама. Моя мама. Любимая мама!

И беда даже не в том, что она лишилась разума. Нет. Трагедия, что такой трудолюбивый, терпеливый и мудрый от природы человек смог почувствовать себя по-настоящему счастливым в нашей стране, только повредившись рассудком...

Морозным январским утром, спустя год, мама трагически погибла насильственной смертью. Я осталась одна. Матери не заменит никто.

Всё жутко. Нелепо. Как в жизни...

Больше меня здесь не удерживало ничто. Мы переехали с мужем к нему на родину, в Горьковскую область, в родительский дом.

Много позднее руководители страны открыто покаялись и решили выплатить компенсацию репрессированным семьям. За разорённые родовые гнёзда, за погубленную жизнь, за унижения...

Господи, да мы сроду-то не копили обид, а тут последняя горечь с души ушла. Кто бы знал, что доживу до такого!

Прямо из Правительства Карелии мне пришло извещение о денежном переводе. Я разволновалась: не знаю, за что и хвататься.

До почты иду, людей сквозь слёзы не вижу.

Для письменного сообщения
За конфискованное
имущество
Минфин КАССР

Министерство
связи Союза ССР
ТАЛОН
к почтовому переводу
за 44 руб. 42 коп.
От кого из бюджета
СССР № 222 314 сч. 70
Минфин КАССР
Адрес
Адресный перевод в подробный адрес:

Подаю паспорт. Благодарю женщин за приятную новость, получаю квиток: «За конфискованное имущество: четырнадцать рублей сорок две копейки. Минфин КАССР»...

Бутылка водки стоила по тем временам десять рублей.

Горьковская область, Варнавинский район,
деревня Анисимово, 1995 год

?

...

ЭПИЛОГ

Я перевернул последнюю страницу рукописи.
Как всё непросто...

Но не нам судить прошлое!
Нам бы хоть с настоящим как-то разобраться.
А пока считается, что «мы прорвались с боями из Бухенвальда в Освенцим».

Откровение родительских рукописей взволновало меня.
Я бережно уложил эти пожелтевшие страницы и вышел из горницы.
В сенях лестница на чердак, часть ступенек истлела. Осторожно поднимаюсь.
Смотрю: крыша в одном месте совсем прохудилась, и луч света через прореху падает на зелёный кустик. Берёзка с рябинкой растут. Уже на метр поднялись. Сами ярко освещены, а вокруг терпкий чердачный мрак.

Тихо. Таинственно. Как перед службой в церкви.

Пылинки млечным звездопадом выются в солнечном конусе света.

Раньше чердаки густо засыпали землёй — вот и прижились два зёрнышка, занесённые сюда ветром. Дождик их напоил, солнышко осветило и обогрело. Тянутся деревца вверх, не сдаются. Переплелись ветвями, в обнимку, словно отец с матерью.

Погибнут они здесь!

— Милые мои, возьму вас с собой, прямо как есть, не разлучая.

Свежее дыхание ветерка и радостный шелест листвы — в ответ.

Сердце говорит и болит.
В небо распахнулось пальто.
Как в глубоком детстве, навзрыд,
Родину люблю ни за что.

Юность истощилась, как мел.
Опыт не велик и не мал.
Песен не испел — не умел.
Гимнов не сложил — не желал.

Каково ей — мне ли не знать, -
Нас не порознь клали под гнёт.
И отца ей отдал, и мать.
И себя отдам, как возьмёт.

Ступишь в синеву — и забыт.
Сроду не копили обид...
Сердце говорит и болит.
Просто говорит и болит.

Карелия, г. Петрозаводск, 2007 год



ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

Посвящается жене и другу
Галине Петровне
Костюниной

«...*В*от вышел сеятель сеять;
И когда он сеял, иное упало при дороге, и налетели птицы, и поклевали то;
Иное упало на места каменистые, где не много было земли, и скоро взошло,
потому что земля была неглубока;
Когда же взошло солнце, увяло и, как не имело корня, засохло;
Иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его;
Иное упало на добрую землю и принесло плод...»

Не с рождения восприимчив к благодати человек. Но страдания, физические и душевные, постепенно готовят почву.

Незримый Садовник орошает её.

То сладкой патокой, то нашими слезами и кровью.

В повседневной суете, когда, как дворняга, занят погоней за собственным хвостом, некогда остановиться и задуматься. И вот однажды время будто бы замирает. Всё лишнее, второстепенное отходит на задний план. Главное выступает вперёд.

Глаза не разбегаются.

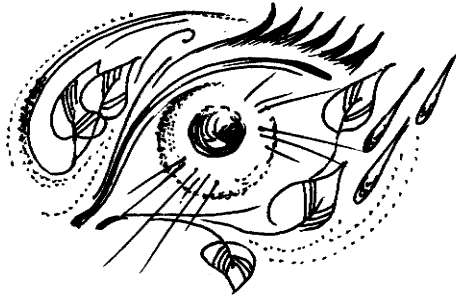
Нет.

По-настоящему главного — мало.

Сами собой приходят мысли о Добре и Зле, о Любви и Ненависти, об Истине и Правде, о Жизни и Смерти. Эта способность к осмыслению формируется исподволь, а проявляется вдруг.

Словно после летаргического сна, отстранённо, с высоты, зриаешь на пройденный путь. Замечаешь то, чего раньше и не видел. Впервые открывается возможность себя понять. И для этого, оказывается, не нужно ничего выдумывать.

Требуется лишь всё точно вспомнить.



Волшебные стёклышки

Холодный сентябрьский дождь лил, не переставая, вторые сутки. Смеркалось. На улице сыро. Зябко. Одинокие прохожие бесформенными тенями проплывают за окном.

В печурке задумчиво потрескивают дрова.

Я придвинулся ближе к огню.

Хотелось побыть одному и многое осмыслить.

Мистические видения, которые возникли сегодня в тот момент, когда я печатал очередной снимок, взволновали меня.

Я помню, как появилось невольное желание оглянуться...

Нерешительным взглядом окинул комнату.

Один...

Но сильное, явное своей осязаемостью новое чувство не давало успокоиться.

Да, правильно, я как раз собирался печатать автопортрет.

Включил проектор.

Яркий луч света прошёл сквозь прозрачный негатив плёнки. И прямо под ним, на белом листе бумаги, появилось моё изображение. Поначалу оно было неясным, мало узнаваемым.

Для того, чтобы снимок реально, без искажений передал все оттенки, используют светофильтры. Всего этих стёклышек три: красное, жёлтое и синее. Мастер, пропуская через них обычный белый свет, оживляет изображение.

На первый взгляд, всё очень просто, если не задумываться...

А в действительности стоит хоть немного нарушить пропорции этих цветов — и человек на снимке выйдет совсем другим. Он будет напоминать того, настоящего, но это будет уже не он.

Осталось только навести резкость.

Моё второе «Я» на снимке начало выплывать из дымки и становится всё более и более чётким. Наводить лучше всего по глазам. Всмотриваясь в них, я ещё чуть тронул объектив, и наши взгляды встретились...

Границы реального стали размываться и плавно отступили куда-то в темноту. Только его глаза. (Вернее, глаза моего второго Я.) Между нами установился прямой контакт.

— Здравствуй! — сказала моё отражение.

— Здравствуй... — невольно вырвалось у меня. (Наверное, нужно было произнести что-то совсем другое... но я не нашёлся.) — Ты кто?

— Я твоя Душа. Ты сделал так, что теперь можно с тобой разговаривать. Спасибо тебе. Но я не одна.

— Не одна? А кто же ещё?!

— Ещё твой Разум и Тело. Ты состоишь из нас. Человек имеет триединую сущность. Мы для тебя, как стёклышки для твоего изображения. Красное, жёлтое и синее. На протяжении всей жизни Господь, по своему усмотрению, изменяет влияние каждого из нас на тебя. И только поэтому меняешься ты. Никак не наоборот. Однако по мере развития человек с каждым шагом приближается к Моменту Истины, когда вынужден сделать свой выбор: кому из троих отдать веру? Если хочешь, мы можем рассказать, как для принятия этого решения постепенно созрел ты.

— Конечно, хочу...

— Ну, слушай. Только пусть расскажет лучше Разум.

— Начну с твоего детства, — произнёс Разум и повёл свой неторопливый рассказ.

Первым появляется Тело.

Его уже с первых минут принято называть человеком.

Тело чувствует себя некомфортно. Оно хочет преодолеть это неприятное состояние, но свои возможности у него не то что ограничены, — они отсутствуют. Тело поэтому, как пуповиной, связано и напрямую зависимо от внешнего мира.

На первых порах распорядок дня незатейливый. Сигнал подаст — наготово покормят и напоят. Потом Тело спит, просыпается — и всё сначала. При рождении оно сильно не умничает. Нечем.

Телу нравится, чтобы его берегли, непрерывно лелеяли и заботились о нём. К хорошему оно быстро привыкает и подталкивает Разум, как только тот появится, добиваться очередных благ.

Таким образом, вторым у тебя появился я.

Господь так устроил, что Разум, хотя и рождается на свет абсолютно неразвитым, чужих, полезных советов не воспринимает. (Опыт не привьёшь.) И поэтому в молодости, так называемый «человек», оценивает происходящее, принимает бесповоротные решения, испуганно спорит, не приходя, по сути, в полное сознание.

Место, предназначенное для Души, заполняется последним.

Душа смалу способна сострадать, испытывать стыд, любить и ненавидеть, овладевать искусством, воспринимать юмор и упиваться литературой.

Она — совесть человеческая.

А жизнь кипит. Ритм задают авторитет взрослых, обычаи, сложившиеся в обществе на тот момент, и неуёмные потребности Тела.

Разум не успевает толком ничего осмыслить (просто ещё не знает, что такое — «мыслить»), а Тело за ручку повели вступать в пионеры, в «Гитлер югенд», в общество друзей церкви. (Кого куда.) Оно поспешает с готовностью.

Это животная стадия развития человека.

Греховное ненасытное Тело при этом главенствует. Его поводырь, Разум, — ещё незрячий. Душа, маленькая и ранимая, страдает, но на неё никто не обращает внимания.

Душе сплошная мука с Разумом и Телом. Как неродные.

Есть ли вина человека в этом? Да! Если считать виновным молоток, которым вгоняют гвоздь.

Сострадание

Напомню тебе один случай, который произошёл на твоих глазах в детстве.

Ты зашёл к своему сверстнику в гости. На кухне сидела его старенькая бабушка. Она психически больна. Несмотря на свой недуг, это была сама доброта и труженица, каких поискать. Чтобы чем-то помочь взрослой дочери по хозяйству, она бралась за любую работу. И хотя посуду после неё принято было перемывать, она старалась как могла. Зато связать носки, соткать половик — мастерица. Вот и на этот раз, сидя на кухне, она вязала носки любимому внуку. Самому дорогому ей человеку!

Его приход из школы — для неё тихая светлая радость...

Родным ей был карельский язык — язык малочисленного исчезающего народа. Нас очень сместило, когда на непонятном наречии она тихонько молилась, а на русском пела непристойные частушки.

Твой друг стыдился своей бабушки.

Досада накапливалась.

Когда вы разделись и прошли на кухню, она прервала своё рукоделие. Открытая улыбка осветила её лицо. Поверх очков на внука смотрели излучающие доброту глаза. Натруженные руки с вязальными спицами расслабленно опустились на заштопанный передник. И вдруг... клубок шерстяных ниток озорно, как живой, выскочил из неуверенных рук, разматываясь и уменьшаясь.

Опираясь на кухонный буфет, она тяжело поднялась с устойчивой деревянной табуретки. А дальше... (надо же было такому случиться!), нагнувшись за клубком, она нечаянно задела внука, который наливал себе в кружку молоко. Рука качнулась, и молоко расплескалось...

— Дура! — в бешенстве прокричал внук.

Всё произошло так быстро: он зло схватил тяжёлый сковородник и, выбегая из кухни, с порога, изо всех сил, бросил им в бабушку. Сковородник

попал по опухшей бабушкиной ноге. Её полные губы задрожали, и она, что-то причитая на родном языке, придерживая рукой больное место, с плачем опустилась на табуретку.

Слёзы текли по её раскрасневшемуся лицу.

Не помня себя, ты схватил шапку, пальто и выбежал из дома.

На Душе было гадко. Но Тело успокаивало:

— Бабушка не наша. Нам-то что? Пусть сами разбираются...

Спустя много лет ты воспринял её боль как свою собственную. С тех пор эти воспоминания для твоей Души — открытая рана.

Я, как твой Разум, пытался понять, почему мир несправедливо жесток? Может, он просто неразумен? Существует интересный афоризм: «Мы думаем слишком мелко. Как лягушка на дне колодца. Она думает, что небо — размером с отверстие колодца. Но если бы она вылезла на поверхность, то приобрела бы совсем другой взгляд на мир».

Человек тоже способен видеть только то, что Вершитель судеб готов приоткрыть ему в конкретный момент. Всему своё время. И его не ускоришь, механически передвинув вперёд стрелки часов. Быстро развиваются только простейшие организмы.

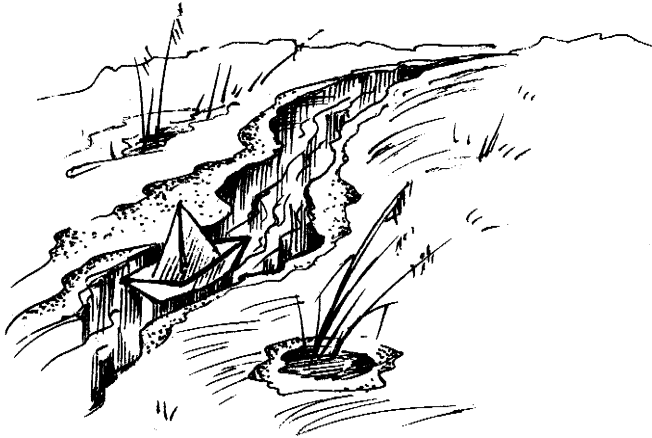
Меня осенило: и «слёзки невинного ребёночка» в произведении Достоевского, и «подвиг» твоего одноклассника в отношении родной бабушки, — всё специально подстроено только для того, чтобы пробудить сострадание **именно в тебе**.

Пусть действительно не изменить судьбу книжного героя и поступок бездуховного Тела не скорректировать задним числом. (Прошлое неподвластно никому, даже Богу.) Но есть ещё настоящее и будущее. Как поступать в подобных ситуациях впредь?

Кто-то снова и снова проигрывает в сознании яркий ролик из неприятных воспоминаний. Это — своеобразный тест, предложенный свыше. Во время поисков правильных ответов формируются мысли и чувства.

И вот детство подходит к концу.

Детство — сон Разума и Души.





ЛЮБОВЬ

Любовь!

Никакой любви на свете нет. Всё сказки.

До двадцати лет, искренне веря, ты был готов подписаться под этими словами. Но, оказывается, никогда не нужно спешить подписываться.

Юность.

Потихоньку, несмело начинает теплиться Разум и просыпаться Душа. Если бы в этот момент Тело хоть чуть замедлило своё развитие, то — вот и она, желанная гармония.

Куда там. Тело точно с цепи сорвалось. Безумная страсть к женщинам — препятствие серьёзное. Как с высокой крыши столкнули. Попробуй, остановись...

Слушая доводы Разума и Души, невпопад кивая, Тело стремилось к слиянию. Добровольно оно «простаивало» только в период своего беспокойного сна и поспешного заглатывания пищи. Непросто было, кружась в этом шальном собачьем танце, поверить в существование любви.

Ты мысленно, для себя, называл её одной из претенденток «на престол». (Пора было подумать о женитьбе.) Девчонка уверенно тянула на крепкую «четвёрку». «Может, именно её и стоит выбрать?» — просчитывал я как твой Разум.

Душа молчала. Тело согласно кивало.

Тело... Да от него в спокойное-то время не дождёмся разумных советов, а сейчас, когда даже потовые железы вырабатывали семенную жидкость, и подавно.

В общении с этой подружкой не было, собственно, ничего нового. Как всегда. Милая болтовня. Ты начинаешь мысль — она заканчивает. Остроумный, к месту, юмор. До исступления — секс. Между тем знакомство, которое длилось больше года, по моему мнению, пора было заканчивать. «Найдём получше!»

Мелкая ссора. Вы расстались.

Тело готово к новым походам. А Душа?

На дворе ноябрь. Солнца неделями нет. Дни серые. Плохая погода и повлияла на настроение: ничем больше твою хандру я объяснить тогда не мог.

К новым знакомствам не тянуло. Странно...

Нужно встряхнуться. Сменить обстановку. Выехать на природу — и всё встанет на свои места. Наверное, просто утомился с учёбой. Да и после простуды лёгкое недомогание. Приятной улыбкой, абсолютно не к месту, пробежала мысль о «четвёрке».

Но вот поездка состоялась. Солнце на месте. А Душа стала томиться ещё сильнее. Никого видеть не хочется.

Стоп! Так ли уж никого? Нет, не так.

Тело, сбитое с толку горячей поддержкой Души, впервые испытывало не животное волнение. Ноги сами понесли. Встреча. Готовность к восстановлению отношений только с твоей стороны. Опять расстались. Разлука. Жгучая тоска.

Письма к ней.

Ты растворялся в них.

Нестерпимая ноющая боль в сердце.

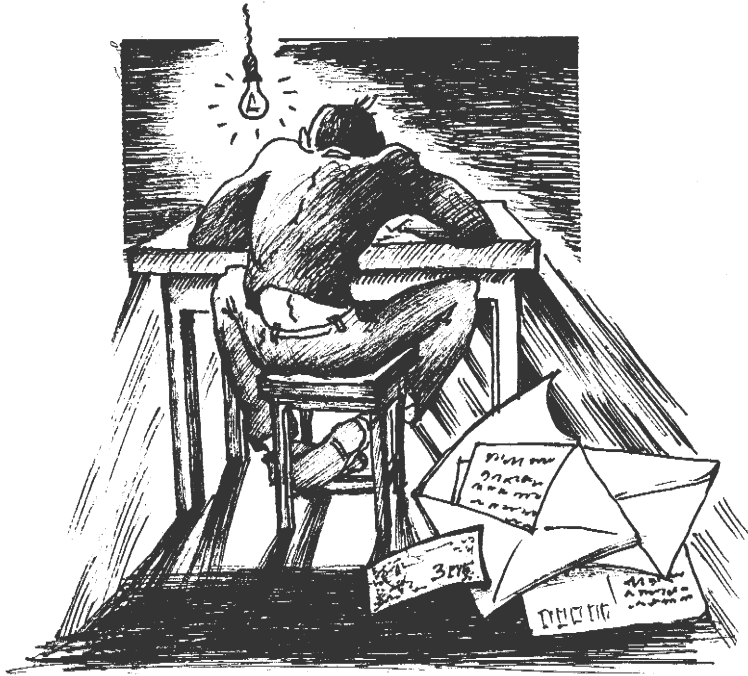
Для тебя Она потеряна навсегда.

Сначала, может, показалось? Какое там! Земля начала уходить из-под ног... Тело испытывает беспокойное чувство невесомости. Мелькание перед глазами. Пол. Потолок. Голова. Ноги. Удар! Абсолютно жуткий удар. До искр из глаз. До слёз.

Поднимаешься.

Не сразу, как неваляшка, под тихий мелодичный звон в ушах... Пытаешься поймать равновесие. Вот теперь ты знаешь, что такое любовь. Ты внутри неё. (Пока не провалился — разве поймёшь?)

Перед тобой в зеркале уже совсем другой, разом повзрослевший человек. Куда-то бесцельно бредёшь по жизни...



Ну а дальше совсем неинтересно. Обычный кошмар. У нерушимого, сейсмостойкого здания (каким ты себя считал) «поехала крыша». Стыд. Доводы Разума. Планы на будущее. Всё потеряло своё прежнее значение без Ней.

Вы несколько раз сходились и расходились, ссорились и мирились. Мне, твоему Разуму, отчётливо было видно, что вот так, под «канкан», всю жизнь не проскачешь.



Генрик Сенкевич высказал замечательную мысль: «В любовнице ищи, чего хочешь: ума, темперамента, поэтического настроения, впечатлительности, но с женой нужно жить всю жизнь, а поэтому ищи в ней того, на что можно положиться, ищи основ».

Не зря говорят: женщины делятся на проституток и матерей. И для создания крепкой семьи требовалось найти «мать».

Нашёл.

Свадьба была зимой, в трескучие морозы.

Невесту ты вёз на санях, запряжённых тройкой лошадей, укрывая свою дорогую и желанную находку жарким овчинным тулупом. Трудно загадывать, как жизнь сложится дальше. Но одно можно с уверенностью сказать сейчас — и по расчёту брак бывает удачным, если расчёт правильный...

Хотя, конечно, «кто не пил водки, не может по достоинству оценить вкус воды».

Деньги

*Х*озяйка квартиры уже давно рассказывала о какой-то учительнице. Её спокойный голос, достигнув тебя, не задерживаясь, проплывал мимо... (Трудно, оставаясь безразличным, изображать заинтересованный вид в разговоре с собеседником.)

Тяжело вздохнув, женщина продолжала:

— ...У неё было четверо детей. Одна девочка окончила девятый класс, вторая училась в шестом, вместе с моим сыном. А мальчишки: один — в третьем, другой — в первом. Муж работал тогда на комбинате, в цехе производства окатышей, рабочим, а она была классным руководителем моего сына. Три года назад у нас на комбинате сильно задерживали зарплату. Бюджетникам государство в положенный срок тоже не платило. Людей постоянно обманывали. Многодетные семьи попадали в крайне тяжёлое положение.

Я стал прислушиваться.

— Конечно, разные есть люди. Она была из тех, кто, прокладывая себе жизненный путь, никого не расталкивает локтями. Пожалуй, только близкие знали, насколько ей тяжело. Тогда при выдаче зарплаты не смотрели, у кого сколько детей в семье. Всем выдавали одинаково: например, по тридцать процентов. А попробуй-ка четверых детей прокорми... Мы часто встречались. То у меня на работе, то я к ней домой заходила. Она меня хорошо понимала не только как учитель, но и, в первую очередь, как мать, наверное. У меня сын больной. У него полностью потерян слух. Три года он учился в спецшколе, а в четвёртый класс я его привезла в общеобразовательную школу. Но легче, когда один педагог учит, и совсем другое дело, когда

преподавателей становится несколько, и каждый ведёт свой предмет. Я очень боялась, сможет ли сын привыкнуть к учителям, к коллективу. И, само собой, возникали трудности. Первым человеком, который помог мне в моём горе, была она. Настраивала ребят, учителей. Подбадривала меня, чем могла. Я, честно скажу, даже не ожидала таких успехов у сына в пятом классе. Ей удалось сплотить и ребят, и нас, взрослых. Она устраивала совместные праздники. Вместе отмечали Рождество. Родители готовились, дети готовились. Все поняли в конце пятого класса, что мы — одна большая семья. И это во многом благодаря ей. На День Святого Валентина она вырезала из бумаги маленькие красные сердечки — «валентинки» — и дарила от себя каждому ученику в классе. Вот это сердечко. Я его сюда, на видное место, повесила. Однажды вечером я шла после работы домой и встретила её — из школы возвращалась, после второй смены. Я предложила зайти в магазин. Она: «Да мне там делать нечего, ведь у меня денег и на хлеб нет...» Я разволновалась. Говорю: «Давайте, я вам дам». А в ответ: «Нет, не надо! Зачем я буду кого-то обременять?»

Всё это время, рассказывая, хозяйка хлопотала по кухне. Но тут она в замешательстве остановилась, присела рядом и, помедлив, заговорила вновь:

— Намечалась первая забастовка учителей. Как педагог, она жалела, что перерыв в учёбе отразится на успеваемости ребят, но как человек была убеждена: необходимо бороться за свои права. Я решила позвонить ей, чтобы узнать, вести ли ребят завтра в школу? Обычно, когда я звонила, то старалась совсем мало времени у неё отнимать. Самое конкретное спрошу — и всё. А тут разговор как-то затянулся. Она сокрушалась, что у неё паскудно на душе. Я успокаивала, что три дня будет забастовка, отдохнёте немножко. Отдохнуть, говорит, не получится: в школу всё равно надо ходить. Сказала ещё, что сейчас на комбинате у мужа в счёт зарплаты мешок муки дали. Блины можно будет печь. Этому звонку я не придавала большого значения. Разговаривала она уже лёжа в кровати. «Дети, — говорит, — там ещё бегают, радуются, что завтра в школу не надо, а я лежу. Муж на работе в ночную смену».

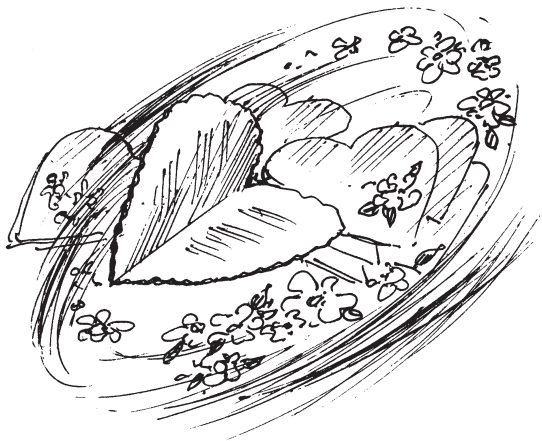
Утром, когда супруг вернулся с работы, дети не спали. Дверь в спальню была плотно закрыта, чтобы маму не беспокоить.

А мама была уже мёртвая.

Врачи поставили диагноз: сердце не выдержало.

Маленькое красное сердечко загадочно качнулось...

Сердце, которого хватало на каждого и не хватило только на себя, продолжало жить.



Имущие и неимущие.

Из этих двух категорий и состоит род людской.

Их различное отношение к жизни, устремления, порой противоположные, — источник вечного противоборства, кровавых революций и один из самых сложных вопросов философии.

В Библии сказано: «Не нужно собирать себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут. А нужно собирать себе сокровища на небе». Эти красивые, правильные слова едва ли могут прийти на ум человеку, когда он систематически голодает... Их можно списать, можно зазубрить, можно под угрозой повторить, но глаза, горящие неутолённым блеском, выдадут.

«Сколько натерпишься обвинений в хамстве, прежде чем узнают, что ты глухонемой», — писал Михаил Жванецкий. Неимущие люди в отношении таких библейских призывов тоже по-своему «глухонемые».

Человек только тогда может изменить своё отношение к деньгам, когда на личном опыте вдруг обнаружит, что богатство — это «две курицы в каждой кастрюле, две машины в каждом гараже и две головные боли на каждую таблетку аспирина».

Я хорошо понимаю людей, которые тут же возмутятся:

— Мы тоже хотим такую головную боль!

Справедливое желание.

Господи, дай им возможность самим испытать её.

Государство

Прикрываясь интересами его, зачастую совершаются преступления против человечества. Поэтому, чтобы не стать сообщником, следует всё называть своими именами. И тогда никому не удастся подменить «Родину» — «государством».

Родина — понятие святое.

Родина — дана от Бога.

От неё можно отказаться, насильно лишить её нельзя.

Родина не погибла в России в 1917 году. И не появилась вновь.

А вот с государством сложнее...

Никуда не выезжая из СССР, наутро мы проснулись в другой стране.

Государства друг от друга отличаются. Соответствующий кураж придаёт им идеология.

Капитализм.

Социализм.

Это вовсе не то же самое, что прагматики и романтики. Ни социализм, ни капитализм не вправе претендовать на светлую мечту человечества. И смущает, что абсолютно безграничная власть сосредоточена в руках небольшой горстки обычных людей: известно, что любому заурядному человеку, у которого в руках молоток, всё вокруг напоминает гвоздь.

Безнаказанно выразить своё искреннее отношение к политической системе, внутри которой находишься, можно лишь сложив фигу пальцами ног, подобострастно улыбаясь при этом.

Студенчество.

Любили группой зайти в пивной бар. Посидеть. Побеседовать за пенистой кружкой «Жигулёвского» пива. Часто не получалось. Но как выкраивали деньги — вы там.

Случайно подвезло. Бывший сокурсник, бросив учёбу, устроился работать барменом. Когда попадали в его смену, он по-свойски заводил вас на кухню, усаживал на обтянутые дерматином стулья, смахнув на пол тряпье, и угощал бесплатным пивом. Социалистическое государство, которое в данном случае выступало в роли работодателя, выплачивало ему зарплату, заведомо понимая, что на неё не прожить, как бы предлагая самостоятельно восполнять недостающий доход...

От него ты впервые узнал, что в цистерну пива, поступившую с завода, перед тем, как разливать по кружкам, обязательно добавляют ковшик соды.

Зачем?!

Это же очень просто. Сода вызывает обильное образование пены. Остаётся только залить побольше воды — и объём продукции резко увеличивается... Прибыль делится на коллектив.

Вам по знакомству он наливал без соды.

Однажды, оставив вас на кухне, он вышел в зал и быстро вернулся, крайне возбуждённый. В одном из посетителей он узнал инспектора контролирующей организации, который всегда проводил в баре финансовые проверки. Этот ревизор знал все тонкости пивных «рецептов», но зачем вмешиваться... Зарплату он тоже получал маленькую. Гораздо лучше прийти «на халяву», пользуясь должностью, попить неразбавленного пивка, а для отвода глаз выписать мелкий штраф.

Сегодня за столом с проверяющим сидели жена и двое детей. Всех надобно было, как всегда, бесплатно напоить, сытно накормить.

Сокурснику давно хотелось подпустить власти «шептунка»...

Бармен ненадолго задумался.

Затем он аппетитно уложил жирную, вкусную сельдь с ровными колечками лука на тарелку. Полил всё свежим подсолнечным маслом. Нарезал мягкого хлеба. Расставил на поднос несколько кружек с пивом, расстегнул ширинку и... от всей души помочился в каждую.

Аккуратно застегнувшись и перекинув полотенце через руку, он пошёл угощать.

Что же в итоге?

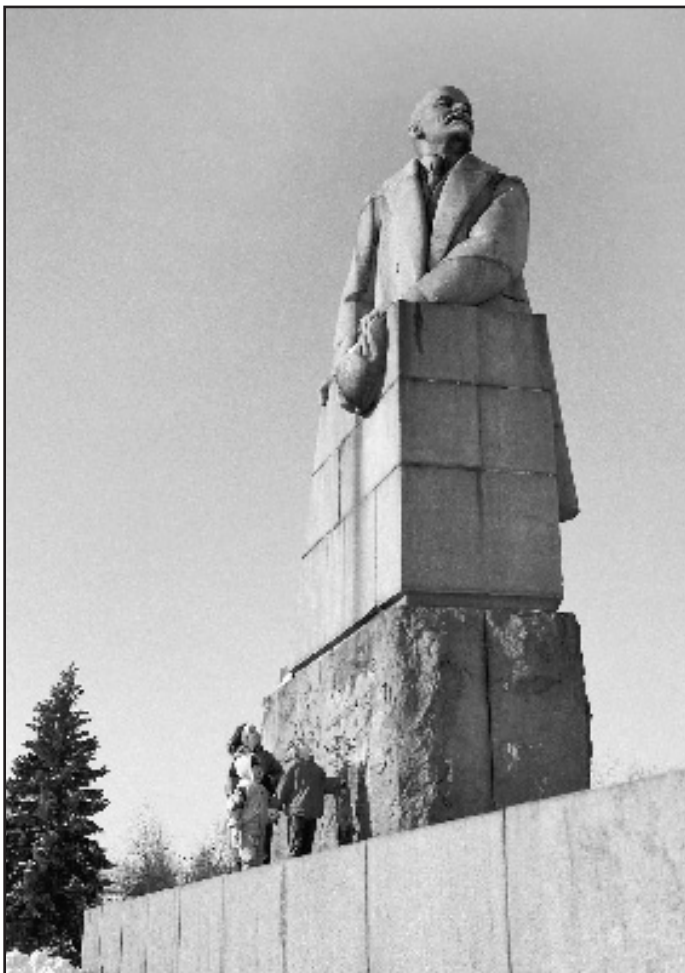
Идея земного рая в обмен на свободу, изложенная Великим Инквизитором в романе Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы», была в точности реализована в СССР. Однако добровольный отказ простых людей от Хлеба небесного не обеспечил материального изобилия (ради которого всё и затевалось). Дошло до того, что и земной хлеб смогли обеспечить только «по карточкам».

Благие намерения привели к «светлому» тупику.

А все
сообщения
об открытии идеальной,
райской формы государства
на поверку оказались сильно преувеличены.

Однако каким бы ни было устройство общества, это не должно мешать лично тебе жить по совести здесь и сейчас.

Человек краснеет в одиночку.



«Спасибо за наше счастливое детство!»

**(Возложение финскими гостями цветов к памятнику
В.И.Ленина, г.Петрозаводск, 1999 г.)**

Насилие



*В*о всей Вселенной властвует насилие.

Тот, в отношении кого оно применяется, объявляет насилие злом.

Если же насилие направлено с учётом интересов конкретного человека, группы людей или государства, оно объявляется добром (обычно без учёта обстоятельств).

По словам Николая Бердяева, «братство людей не может быть естественным, природным состоянием людей и людских обществ. В природном порядке человек человеку не брат, а волк, и люди ведут ожесточённую борьбу друг против друга. В порядке природном торжествует дарвинизм».

Весна. Середина мая.

Солнце над головой — рукой дотянуться.

Местами ещё лежит тяжёлый потемневший снег. По лесной дороге бегут шумные ручьи, размывая своей безумной талой водой песчаные заплатки. Лягушки заходятся бульканьем. В природе ожила и на все лады сливалась после долгой студёной зимы шальная любовь.

Впервые за много лет ты взял жену на глухариный ток. Пусть приобщается к семейной традиции.

Охота не задалась.

Пытались ещё в темноте, крадучись, осторожно подойти под песню к глухарю, но подшумели. Глухарь, заподозрив неладное, смолк, понудив застыть в нелепых позах. (Как «паузу» включил.) Было отчётливо слышно: он важно расхаживал по суку в кронах деревьев и настороженно щёлкал, тревожно прислушиваясь.

Влажная непроглядная тишина повисла над лесом.

Одно неловкое, еле уловимое движение ноги, негромкое чавканье сапога в холодной болотной жиже и, как итог, — взрыв тишины: треск сучьев и мощное хлопанье крыльев лесного богатыря, не разбирающего при взлёте пути.

Всё впустую.

Вы ещё несколько часов кряду продвигались по току на север, придерживаясь края мохового болота, в надежде услышать хоть одну таёжную песню.

Пусто.

Ток был выбит.

Перебираясь через затопленные канавы по скользким брёвнам, преодолев остаток пути по бурелому, вышли на лесную дорогу. Давно рассвело. С добычей в этот раз не подфартило. Теперь до осени — мёртвый сезон.

На припёке, на широком крупе вывороченной и поваленной бурей сосны разложили на салфетке бутерброды. Ты с удовольствием глотнул из фляжки мягкого согревающего коньяку.

Хорошо... Можно и домой.

И вдруг несмело на чёрную, полностью оттаявшую дорогу выкатился опьяневший от счастья и ещё совсем белый в своей зимней шубке заяц.

Следом избранница.

Перескочили дорогу. Замелькали между деревьями, помахивая белыми платочками. Рука привычным, натренированным движением, едва касаясь пальцами, вскинула ружьё к плечу. Мушка, слившись в одно целое с цепким взглядом, уверенно вела любовную парочку. Ждёшь — чтобы одним патроном. Вот они мелькнули, оказавшись совсем близко друг от друга.

Выстрел!

— Что ты? Не стреляй в них! — спазм оборвал голос жены. Сжавшись от отчаяния, она закрыла руками лицо.

Эхо одиноким трагичным раскатом прокатилось над лесом, перекрывая «человеческий» плач раненых зайцев.

Нет, не лев — царь зверей.

Царь зверей — человек.

В период, когда у человека земные потребности, такие увлечения, как охота, — настоящий первобытный подарок. И не только для Тела, но и для зарождающейся Души тоже. И нет ни вины, ни заслуги человека в том, что он, находясь под властью земного притяжения, живёт теми радостями и печальями, из которых, собственно, и состоит. Но насилие при этом не перестаёт быть насилием...

Главное — мотивы.

Так, если силу применяют, руководствуясь инстинктами, по незнанию, то в данном случае насилие — Зло, но греха в нём нет. Конечно, если бы Господь создал человека одновременно и с животными потребностями Тела, и с высокоорганизованным Разумом, и с высоконравственной Душой, — тогда бы вина полностью лежала на нём. И только в этом случае.

Но жизнь устроена таким образом, что «правильным» не стать при рождении.

Не помогают избежать собственных ошибок ни чужой опыт, ни советы, ни чтение умных книжек, ни магические заклинания, ни пряник, ни кнут. Человек обречён сначала совершать поступки и только потом, когда уже поздно, оценивать их. Следовательно, грехом является только осознанное совершение греха.

Кому служить: Богу или Дьяволу?

Для каждого человека наступает Момент Истины, и ответ на этот вопрос он вынужден дать прямо, осмысленно...

По моему твёрдому убеждению, Бог создал Мир гармоничным.

В нём нет места хаосу. Зло и Добро. Они, как требовательный отец и заботливая мать, помогают человеку познать Истину и обрести Свободу.

Дьяволу часто служат под угрозой расправы. Господь же нуждается в свободном выборе человека. Фаина Раневская считала: «Есть люди, в которых живёт Бог. Есть люди, в которых живёт Дьявол. А есть люди, в которых живут только глисты».

Теперь я хорошо знаю, что право выбора остаётся за тобой.

Часто используют принуждение в целях обороны. Например, когда дело дошло до Отечественной войны, тут без насилия обойтись невозможно. Милосердием не превратишь врага в друга, а только увеличишь его притязания.

Есть и ещё одна грань человеческих отношений, где одними «пряниками» не обойтись. Это воспитание собственных детей. Твой сын.

Его никто не заставлял делать уроки. И он в итоге принимал решение сам. Ты не нашёл ничего умнее, как переложить отношение Бога к людям на тему педагогики при воспитании собственного ребёнка.

Не хочет заниматься уроками — его право.

Но, изволь, при получении низких результатов — в угол.

Получалось, что он наказывал себя сам в соответствии с действующим семейным «законодательством». По праву отца ты в семье и судья, и прокурор, и, как в сказке, «вы будете, наверно, смеяться, но и адвокат тоже я».

В «отстойном углу» вывешено твоё обращение к сыну:

«Сын!

Не обижайся, если можешь.

Пойми: ты продолжишь свой бег по жизни сразу, как только окажешься «на свободе». (Это от тебя никуда не уйдёт.) Но сейчас постарайся использовать вынужденную неподвижность с пользой. Попробуй осмыслить происходящее, оценить свои возможности, осознать истинные желания.

И ещё — привыкай к земным правилам.

У людей как: получаешь «тройку» или, не дай Бог, «двойку» — неприятности тут как тут; «четвёрку» — к тебе нет интереса, ты — «как все»; твои результаты оценили на «пять с плюсом» — ты специалист, Человек. Тебе есть за что уважать самого себя.

Чем раньше ты поймёшь эту схему жизни, тем увереннее будешь чувствовать себя в ней».

Один из персонажей сказки Шварца считает, что «детей надо баловать, тогда из них вырастают настоящие разбойники». Только в том случае, если перед родителями стоит именно такая задача, — принуждение ни к чему.

Каждый в своей жизни проходит ВСЁ!

Жизнь и Смерть.

Как Свет и Тьма.

Насилие под угрозой смерти зачастую вынуждает трусливо идти на поводу у животного страха. А «на поводу» можно зайти очень далеко. Так далеко, что и захочешь вернуться, да будет поздно.

В беду падают, как в про-

п
а
с
т
ь.

Вдруг!

Но в преступление

сходят

шаг

за

шагом...



«Обратной дороги нет»

— Жизнь так распорядилась...

— Нет!

По твёрдому убеждению Марины Цветаевой, «в диалоге с жизнью важен не её вопрос, а твой ответ».



«Дороги, которые мы выбираем»

Человек взрослеет. Душа начинает заявлять о себе. В ней просыпается Совесть. С удивлением обнаруживаешь, что существует не только Страх, но и Стыд. Не только Тело может испытывать боль, но, как выясняется, и Душа тоже. И чем дальше, тем трудней становится человеку определять, когда больнее.

Впервые осознаёшь, что ситуация не вписывается в привычную схему, когда Душа оценивает насилие в отношении себя как заслуженное...

А вот это — загадка не для животного.

Пат.

Человек становится кротким. Он испытывает глубокое смирение, не теряя при этом мужества. Тогда жизнь и смерть — две чаши колеблющихся весов.

Жизнь...

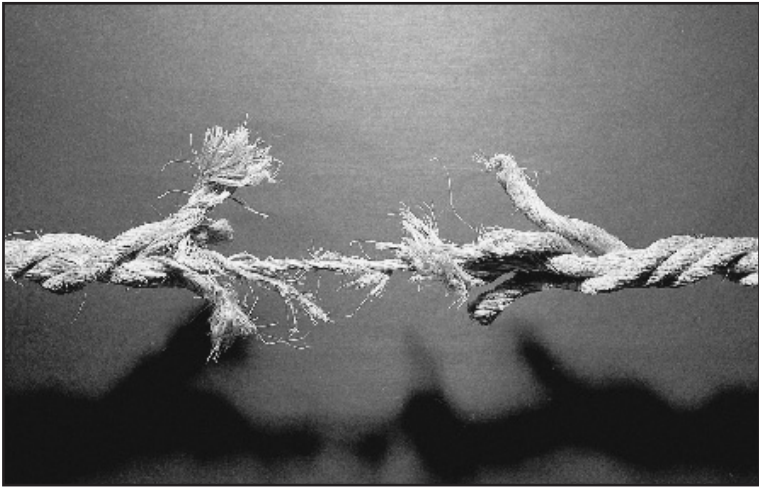
Начинаешь её понимать, когда убеждаешься, что это не самое ценное.

Оказывается, для Души, полностью сформированной, важнее в принципиальных вопросах не идти против своих нравственных убеждений. Важнее, чем что-либо другое!

Если ситуация не позволяет поступить по совести и при этом сохранить жизнь, то в данном случае смерть — выбор меньшего из двух зол.

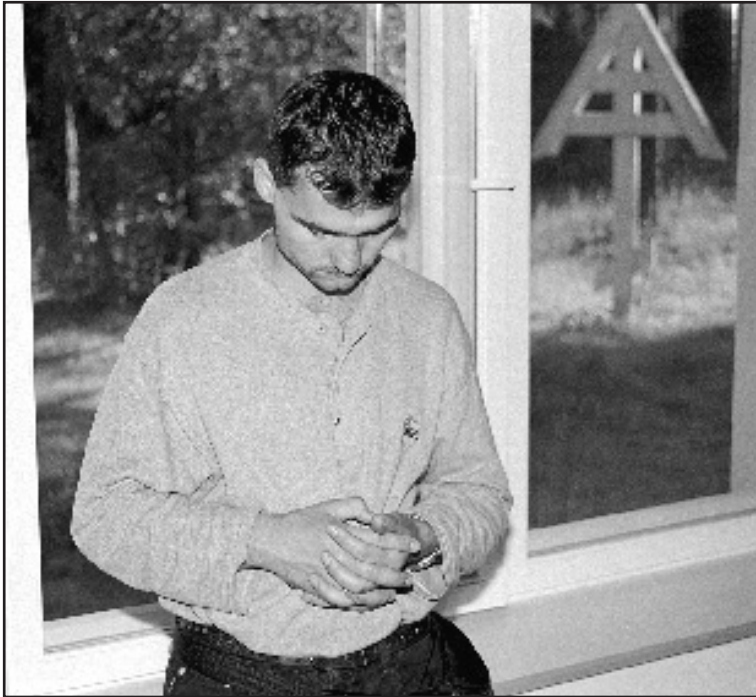
Бернард Шоу советует: «Научитесь искусству убедительно говорить «нет». Это самое необходимое на свете умение; жизнь Ваша будет сплошной мукой до тех пор, пока Вы не сумеете выдавать такой ответ без малейшей запинки самым категоричным тоном, совершенно не считаясь ни с чувствами, ни с влиятельным положением просителя или властителя, — всякого, кто просит или требует, чтобы Вы сделали нечто, не соответствующее Вашим собственным желаниям... **Никогда не позволяйте страху смерти руководить вашей жизнью**».

Теперь ты это хорошо знаешь: бывают случаи, когда не стоит останавливаться, чтобы этим «нет» перерезать нить собственной жизни... Готовность к такому шагу свидетельствует об окончании животной стадии развития человека.



Вера

*Р*азочарование в земных идеалах — первая ступенька на пути обретения Веры.



Стоило поближе узнать политическую партию или конкретного человека, и ты уже сам удивлялся своей близорукости. Их настырные попытки прорубить в твою Душу окно вызывали лишь глухую неприязнь.

Убеждение относительно всемогущества денег тоже не выдержало испытания временем. Обеспечить себя материально и при этом не приблизиться к счастью. В этом смысле: все ещё только «туда», а ты уже «оттуда».

Ты переживал, как ребёнок, развернувший яркий фантик, — внутри пусто.

Вера в светлый идеал — вовсе не прихоть.

Это врождённая потребность.

Убедившись, что на земле Истины не найти, человек в нерешительности и с последней надеждой поднимает свой взгляд к небу...

Она оказалась совсем не ярким человеком. Я помню, ты был искренне огорчён тем, что это и есть первая учительница дочери.

Началась учёба.

В классе ею было заведено такое правило: в день своего рождения ребёнку разрешалось приходить в школу без портфеля. Это был его день, день особый, праздничный. Учительница на свои деньги каждому покупала какой-то подарок. И ребятам она накануне объявляла, у кого будет завтра день рождения. Она, как могла, учила их добру и любви. И все приносили от себя какой-нибудь символический дар: наклейку, тетрадку, рисунок, конфетку, вроде бы ничего особенного, а имениннику было очень приятно. Домой он уходил с полным пакетом.

В классе она построила совсем новый вид общения между детьми. Она повесила почтовый ящик, и дежурный каждый день после уроков раздавал письма. Там были послания и для неё: с просьбами, благодарностями. (В школе ты тоже любил писать записки, но передать их адресату и сохранить тайну было невозможно, а иногда этого очень хотелось. Совсем не обязательно всем знать, кому именно ты пишешь.)

Устраивала совместные вечера с родителями. В конце каждого вечера просила всех детей и родителей встать в круг, взявшись за руки, и говорила: «Дети, посмотрите внимательно на своих мам, какие они у вас красивые, добрые и внимательные. А вы, мамы, посмотрите на своих детей, как они взрослеют с каждым днём, какие они заботливые и отзывчивые».

На одном из родительских собраний она предложила себя в качестве руководителя внешкольного кружка, где детям можно будет рассказывать о Боге, ре-

лигии, изучать Библию. Те родители, которые не возражали против знакомства детей с этой стороной жизни, дали согласие на посещение занятий. Твоя жена тоже считала: «Пусть». Тем более, что дочь просто влюбилась в свою первую учительницу.

В Советской России в то время атеизм уже не был государственной религией. Но, как это обычно бывает, на местах оставалось ещё много верных последователей этой веры. Директор школы была одной из них.

Начались преследования.

Директриса вызывала к себе учительницу каждый день и просто третировала. Она не успокоилась, пока не нашла сторонников из числа педагогов, которые писали доносы. Посылала «агентов» следить за детьми и выпытывать у них, что именно они делают на занятиях кружка.

Да, часто бывает, что «радугой руководит дальтоник». Директор искренне не понимала: «А “любить детей” — это как?» Ей бы на голову пилотку со свастикой да в руки стек... Хотя и в гражданской одежде при активной поддержке власти она чувствовала себя достаточно комфортно.

Думаю, лишним будет говорить, что никакие протесты родителей, никакие детские слёзы не помогли. Из школы учительницу выгнали, и она долго не могла найти работу по специальности.

Мало кто тогда воспринял этот конфликт как свой. Да и лично тебя тоже не тронула близко её судьба. Ты смотрел на опухшее, заплаканное лицо дочери и думал: «Вот дурёха. Ну, уволили. Начальству виднее».

Как говорится: «нам жить, вы и решайте».

Ты искренне верил в справедливость подобного подхода к жизни. Верил, в аккурат до тех пор, пока лично на себе не испытал его ущербность.

Правильно в своё время предупредил Мартин Нимозеллер: «Сначала в Германии схватили коммунистов, и я не возмущался, потому что не был коммунистом. Затем схватили евреев, и я не возмущался, потому что не был евреем. Затем они пришли за католиками, и я не возмущался, потому что был протестантом. Потом пришли за мной, но возмущаться было уже некому».

Прошло четыре года. Ты и думать забыл про учительницу. Дочка подросла. Младшие классы позади. И вот однажды, совершенно случайно, ты оказался в помещении школы-интерната для глухонемых детей. Глазам не поверил — наша учительница. У современного Дьявола и методы цивилизованные. В средние века власть была бы «вынуждена» вырвать ей язык, а тут, смотри-ка... Просто исключили возможность её контакта с детьми, имеющими слух.

Но, думаю, Дьявол в данном случае просчитался.

В приоткрытую дверь класса было видно, как, ласково приобняв немого вихрастого мальчишку, она занималась с ним дополнительно после уроков, обучая азбуке.

Азбуке глубокой, необъятной и вечной, как мир.

Азбуке любви...

Христианский подвиг...

Человек, посвятивший себя Богу, должен быть к такому подвигу всегда готов.

По мнению Николая Бердяева, «несостоятельны все интеллектуальные доказательства существования Бога, которые остаются в сфере мысли. Но возможна внутренняя экзистенциальная встреча с Богом».

Сначала трогательно защемило сердце, а потом сделалось легко и свободно...

Для тебя путь к Истине
проходит через Православную веру.
Белые ночи — купель твоя.
Церковь — Родительский дом.
Там давно ждут тебя...

— Теперь решай сам — Телу, Разуму или Душе ты доверишь свою дальнейшую судьбу...

— Душа моя, веди меня...

Проповедь, воспринятая сердцем

У человек с рождения не умеет ходить. Всё больше ползком. На коленках. С чужой помощью встаёт. Смешно ковыляет, несмело передвигая ножками. Пытается при ходьбе, потеряв равновесие, найти опору: схватиться за подол, за руки, да за что придётся у самого близкого человека — мамы. Подрастая, расширяется круг общения: родственники, друзья, коллеги. И теперь в них ищешь опору.

Вот и шаг стал твёрже, увереннее, но и цели отодвинулись с привычного места ближе к горизонту. И только руки... И только руки привычно ощупывают вокруг себя пространство в поисках поддержки. Перескакивают с одной «страховки» на другую.

А ситуация «поехала» из-под контроля...

Ещё энергичнее цепляешься руками за выступы. Пальцы в кровь. Страх в Душе. (Всегда кто-то в такую минуту подбадривал, поднимал и, поддерживая, шёл рядом.) Но слишком раздвинулись горизонты избранных целей. И даже если бы кто и хотел поддержать, да как поддержать? Как?

Начала обсыпаться под ногами земля...

Крик отчаяния. Слезы. Поздние раскаяния. (Почему я не хотел быть «как все»?) Руками бы дотянуться до людей, которые вокруг...

Но уже слишком велико пространство, разделяющее тебя и их. Рука хватается за воздух. Пусто. И человек срывается с отметки «0»... В глубину, в себя...

Страшно!

Падаешь в бездну. (Сейчас, наверное, ВСЁ!) Нет...

Пока ещё нет.

грудью...
полной
Вдохни
Вот так.
Попробуй ещё.
Правда, здорово!

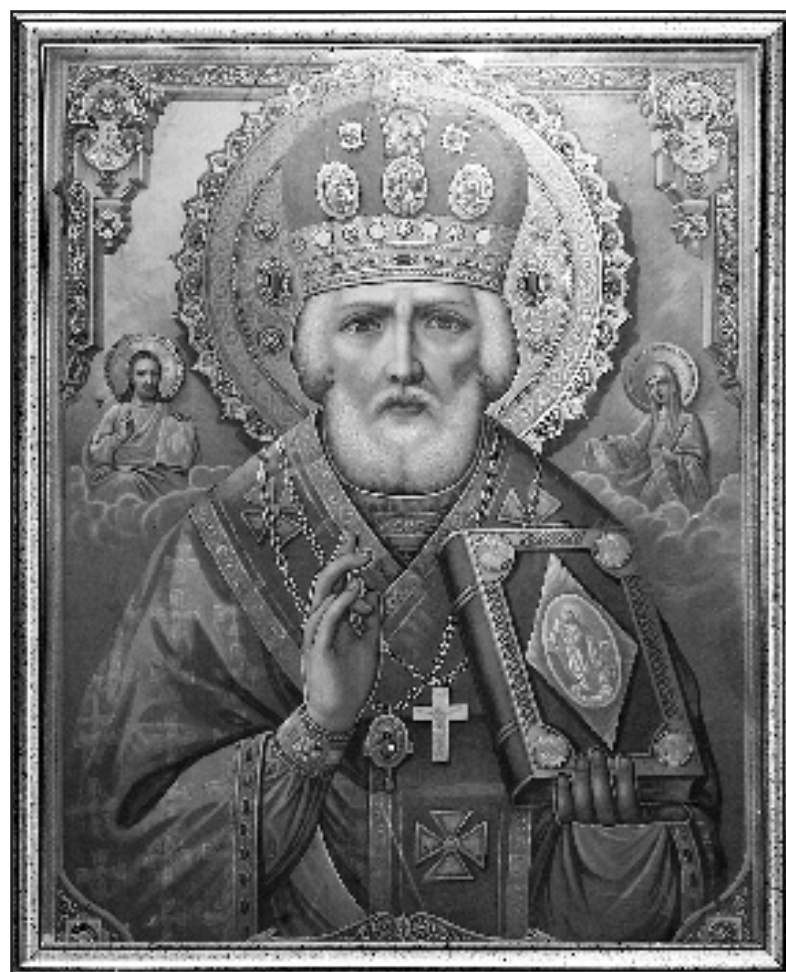
лететь...
попробуй
Ты

Упасть всегда успеешь.
Приоткрой до боли стиснутые глаза.
Расправь крылья.
— Попробуй, преодолей земное притяжение.



— Молодец! Ну а теперь — хочешь назад, к животному состоянию? Нет?!
Значит, ты стал Человеком.
Никто из людей не поможет тебе лететь к избранной цели.
Теперь они только помеха.
Сила, способная поддержать твой полёт, — от Бога. Источник этой силы —
Ты сам. Внутри тебя — Царство небесное.
Открой его.
Возлюби.
А возлюбив — защищай!

Карелия, г. Петрозаводск, 2007 год



Вместо послесловия

...Тебе бы, набалыжник, книжски писать!

Из кинофильма «Место встречи изменить нельзя».

В детстве я не утолил писательский зуд и тем сильно отличался от своих безответных сверстников. Для них писание было неотвратимо. А не так, что Муза посетила — пишу, ушла к другому — сижу сложа руки, преданно жду.

Ничто не спасало их от писательского ремесла.

Изложения, сочинения по теме свободной и заданной на каждом шагу преследовали одноклассников. В итоге каждому отроку за десять школьных лет было привито полное неприятие, отвращение до аллергии, до судорог и к письменному изложению собственных мыслей, и к литературе в любом её проявлении.

Подобные методики да на борьбу с алкоголизмом — цены бы им не было!

Со мной дело обстояло иначе.

По сложившейся в Советском Союзе традиции каждый строитель коммунизма, в качестве бонуса, мог использовать в личных целях своё служебное положение. Одним это сулило привилегии материальные, другим — духовные.

Строители — прорабы и каменщики — тащили на собственную дачу государственный цемент и кирпичи; бойцы общепита — недоеденные посетителями котлеты и гарнир; работники библиотек одаривали домочадцев завидным правом первыми читать новинки литературы.

Мама моя была преподавателем русского языка и литературы. Она приносила домой для проверки детские сочинения и лучшие оставляла мне в качестве образцов.

Нужно сделать анализ характеров из комедии Грибоедова? — Легко!

Герой нашего времени по Лермонтову? — Готово.

На любую тему у меня было на выбор несколько сочинений с оценками пять-пять: за грамотность и содержание. Оставалось только переписать без ошибок.

Дали на дом задание: написать сочинение по репродукции.

Блѣклая, махонькая иллюстрация в приложении к учебнику по русскому языку: на картинке безликий снежный пейзаж, группа деревьев в левом углу, словно мухи нагадили, и вдали с трудом угадывался поезд. Горе одно!

Классики литературы перед таким испытанием спасовали бы.

Чѣрный квадрат Малевича, изображающий лаз в неосвещѣнный деревенский подвал, и то несѣт больше информации.

Ладно. Нам не привыкать. Где там образцы сочинений?

Первое. Не пойдѣт...

Второе. Слабовато. Экспрессии не хватает. (Я бы поставил «тройк».)

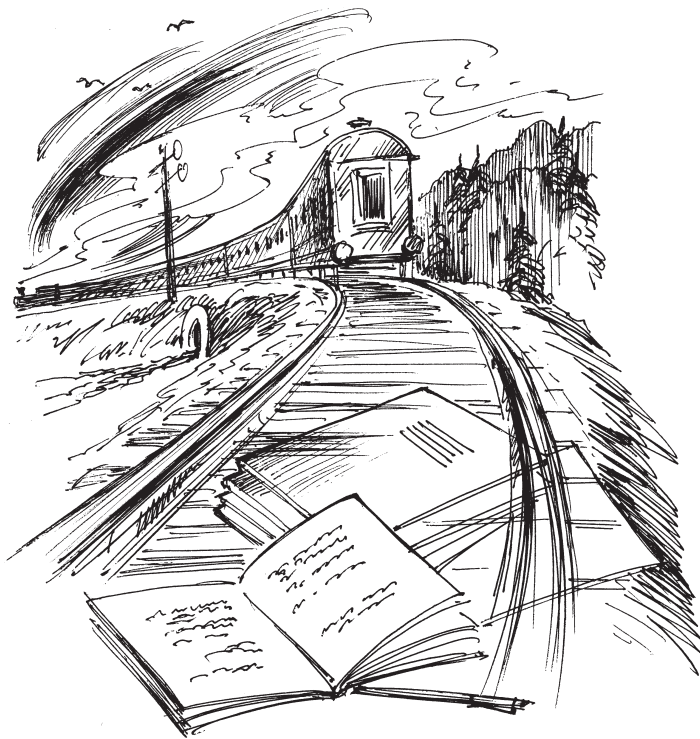
Третье. Автор Маша Иванова... Ну что тебе сказать, ученица Иванова? Пять.

Всѣ аккуратно, без помарок, переписал и лѣг спать, а фантазия бушует. Ассоциации одолевают. Отгоняют сон.

Машинист тепловоза на полной скорости ведѣт состав с оборудованием по сибирской железной магистрали. Он устал. Но там, в тайге, его ждут буровики. Стране Советов требуются нефть, газ, уголь. Медлить нельзя. Нужно успѣть сделать задел, прежде чем закрома родины, как карманы у младшего школьника, вывернет горстка олигархов...

Чувствую, как через приоткрытое окно кабины холодный ветер обдувает мне лицо.

Слышу бойкий, равномерный стук колѣс: «Туда-туда! Туда-туда! Туда-туда!» Уже и не машинист, а я управляю поездом. Что есть сил кручу штурвал, уворачиваюсь от огромных скалистых утѣсов и провожу поезд прицельно прямо между озѣр, по одной колее. До пояса высываюсь из окна, гляжу назад: все сто вагонов вьются следом, как хвост сказочного дракона.



Вот и палатки буровиков впереди. Довёл состав на сутки раньше намеченного срока. По дороге обогнал несколько поездов. Когда пролетал мимо, стрелочники махали фонарями и что-то кричали вслед. Видно, приветствовали...

Фу! Устал. Вторую ночь на ногах. Лицо испачкано мазутом. Руки в мозолях. Но я счастлив! Ещё одно задание партии выполнено с честью.

Меня вечно тянуло к приключениям. Когда я давал себе зарок отсидеться в покое, вихрь событий забирался в мою комнату через замочную скважину и увлекал силком.

Тянуло в поход, на рыбалку, в тайгу, в пампасы!

По воспоминаниям друзей моего отца: «Сначала мы Сашку начали брать на охоту, потом он научился ходить».

Восходы. Закаты. Ночные неспешные костры. Тяжёлые дороги. Сладостные привалы. Слепые метели. Стужи. Весеннее ласковое солнышко. Охота на медведя... Не знал я тогда, кто является Режиссёром-постановщиком этих картин. Они волновали. Будоражили фантазии и чувства. Однажды присушив, уже не отпускали. Побуждали к творчеству.

В путешествиях главным моим наставником был отец, батяня, человек исключительно творческий и начитанный. Его друзья невольны становились и моими друзьями. Это были люди образованные, остроумные.

Сколько чудных вечеров после тугого дня мы провели в вековых, приземистых избушках. Сколько историй рассказано и выслушано.

Закадычный друг отца Владимир Борисович предлагает мне:

— Давай устроим конкурс на самый короткий детектив. Ты первый.

Я внимательно смотрю на него: не шутит ли? И ну придумывать: про бурого кровожадного медведя; про косматых лесных чудищ; про снежный буран, который уносит заснувших охотников от костра...

Но по условиям: острый сюжет должен быть краток. Как выстрел! Замолкаю.

— Теперь вы.

Борисович крепко зажмурил глаза. Болезненная гримаса неподдельного ужаса грубо перечеркнула лицо. Сам весь сжался:

— В воздухе раздалось отчаянное: «Ба-тяааа...- ня-яаа!!! Ай!» — и всё смолкло.

Короче и, одновременно, трагичнее сюжета мне встречать не доводилось.

Мои начальные литературные наброски датированы концом восьмидесятых. К этому времени окончен сельскохозяйственный факультет. По распределению я попал в село. Стал писать короткие рассказы. Некоторые публиковались в газетах. Иногда их отмечали.

Первым из посторонних людей, кто заметил мою страсть к писательству, был Толик — водитель моего служебного бортового уазика. Именно ему принадлежат слова, которые потом оказались пророческими: «Писателя какого-то вожу, не главного зоотехника. В редакциях чаще бываем, чем на скотном дворе».

Я не нашёлся, что ответить.

Действительно, редакции районных и республиканских газет необъяснимым чудодейственным образом оказывались прямо на пути с одной фермы на другую. А главные редакторы периодических изданий становились моими духовниками.

Компьютеров в ту пору не было. Записывал текст от руки. Рукопись правил, переделывал по нескольку раз. Рисовал звёздочки. Вырезал лентами вставки. Вклеивал их. С учётом поправок читал вслух. Затем набело перепечатывал на машинке. Стучал как дятел, ударяя одним пальцем по клавишам.

Материал до утра отлежится — опять нужна правка.

Иногда досада брала: «Сколько можно подправлять и переписывать?»

— Перепиши двадцать раз, и будет тебе счастье! — подбадривала мама.

Она оказалась права.

Я толком сам не пойму, как получилось, что не усидел в читателях. Видно, потребность откровенно высказаться оказалась сильнее. В итоге появилась первая работа под названием «Земное притяжение», написанная в жанре эссе.

В нём размышления о смысле жизни, о смерти, о добре и зле, об истине и правде.

Для подобных мыслей у нас в стране созданы тепличные условия.

Брюзга упрекнёт, что мы по смертности граждан и коррумпированности власти занимаем первое место, а по продолжительности и уровню жизни населения — последнее. Но у любой медали есть две стороны. Все эти обстоятельства способствуют развитию творчества.

Россия — земной рай для писателей!

И скрывать оборотную сторону нашей медали — преступно! Нет нужды выдумывать сюжеты. Полезные творческие ископаемые — прямо на поверхности. Добывай себе открытым способом. Персонажи, сюжетные линии — рядом.

Жизнь диктует, только успевай записывать.

Важной темой для меня стала судьба собственных родителей. Оказалось, она интересует меня куда больше, чем подвиги Александра Македонского. (При всём к нему уважении.) Книг и справочных материалов по истории своей родни не купишь. Их просто нет. Оставалось только написать. Так появилась повесть «Сплетение душ».

Пока работал над ней, заметил одну закономерность: чем труднее, опаснее, напряжённее складывались мои будни, тем легче, охотнее и образнее писалось. Искусство воплощения в слове настойчиво требует взамен или нереализованной страсти, или нужды и горя, или боли и страданий. Позже я узнал, что так происходило не только со мной. По словам Сергея Довлатова, «от хорошей жизни писателем не станешь!»

А Кодексом писательской чести мне по сей день служат слова
Роберта Рождественского:

Пишите о главном,
пишите
о главном!
О главном!
На мелочь ни часа не тратьте...
Пусть кровь
запульсирует в слове багряном
и очень горячими
станут тетради.

Пишите о главном!
Решитесь.
Посмейте.
Прислушайтесь
к сердцу
и с трусостью
сладьте.

Слово — мощный нематериальный актив!
Убеждён, используя его силу, Россия возродится.

Но я не только созерцаю и стенографирую.
Я созидаю.

Так сложилось, что все последние годы я связан с оборонным комплексом. Наш завод строит и ремонтирует военные корабли.

Поэтому я писатель действующий!



Мои рассказы — разновидность «креста». Без него идти тяжелей.
И есть ещё Вера... Вера в то, что нужно искать свой путь к Истине.
К Истине, единой для всех.
И давайте, дорогие читатели, идти шаг за шагом вперёд в поисках её идеального воплощения.
Идти вместе!

P. S.

Пока готовился материал для книги, пришло сообщение:
народный артист СССР Вячеслав Тихонов решил снять художественный фильм по моему рассказу «Рукавичка».

Ваш Александр Костюнин — член Союза писателей РФ,
фотохудожник, а в миру

Председатель Совета директоров Стратегического предприятия России
ОАО «Судостроительный завод «Авангард»,

член экспертного совета по обороне
при Председателе Совета Федерации ФС РФ

**Карелия, г.Петрозаводск,
07.07.007 год**



Содержание

Благодатная купель (Вступительное слово).....	5
Рукавичка (Рассказ).....	9
Орфей и Прима (Рассказ).....	17
Танина ламба (Рассказ).....	31
Жор глубинной шуки (Рассказ).....	41
Офицер запаса (Рассказ).....	53
Колежма (Рассказ).....	67
Вальс под гитару (Рассказ).....	81
Сплетение душ (Повесть-хроника).....	88
Пролог.....	91
По собственному следу.....	93
Утка с яблоками.....	133
Эпилог.....	161
Земное притяжение (Эссе).....	164
Волшебные стёклышки.....	168
Сострадание.....	171
Любовь.....	175
Деньги.....	180
Государство.....	184
Насилие.....	188
Вера.....	198
Проповедь, воспринятая сердцем.....	202
Вместо послесловия.....	206

Свои отзывы и предложения направляйте по адресу: kostjunin@karelia.ru

Мой сайт: <http://kostjunin.karelia.ru>

Подписано в печать 24.08.2007. Формат 70x90^{1/16}. Гарнитура “Академия”.

Печать офсетная. Бумага офсет №1. Печ. листов 13,5. Усл.-печ. л. 15,795.

Тираж 5000 экз. Заказ 1500.

Фотовывод, печать в ГУП РК «Республиканская типография им П. Ф. Анохина»
185005, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, 4



«Родительский дом»

Фото Александра Костюнина

*Источник нашей духовной силы —
в любви к Родительскому дому*

Александр Костюнин